

ДМИТРИЙ
БЫКОВ

ЖД

п о э м а

*Самая неpolitкорректная
книга нового тысячелетия*

Дмитрий Львович Быков
ЖД

OCR Evgeny
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139399
ЖД: Вагрус; Москва; 2006
ISBN 5-9697-0260-9

Аннотация

В новом романе «ЖД» Дмитрий Быков строит совершенно невероятные версии нашего прошлого и дает не менее невероятные прогнозы нашего будущего. Некоторые идеи в книге настолько «неполиткорректны», что от сурового осуждения общественности автора может спасти только его «фирменная» ироничность, пронизывающая роман от первой до последней строки.

Содержание

Предисловие	4
Книга первая	6
Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	13
Глава третья	24
Глава четвертая	46
Часть вторая	63
Глава первая	63
Глава вторая	80
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Дмитрий Быков. ЖД
Дмитрий Быков

ЖД

*Помню Родину, русского Бога,
Уголок на подгнившем кресте,
И какая сквозит безнадега
В робкой, смирной его красоте .*

Лев Лосев

*Грузно поыхивая, паровоз начал брать поворот, и они плавно
скрылись из виду со своим убогим и вечным терпением, со своей
безмятежной недвижимостью.*

С этой готовностью детски неумелой.

*И вместе какая, однако, способность любить без меры,
заботиться о подопечных, надежно их оберегая и обкрадывая, а от
обязательств и ответственности отлынивать так простодушно,
что и уверткой этого не назовешь.*

Уильям Фолкнер

Все идет в одно место.

Экклезиаст, 3:20

Предисловие

Автор приносит свои извинения всем, чьи национальные чувства он задел.

Автор не хотел возбуждать национальную рознь, а также оскорблять кого-либо в грубой или извращенной форме, как, впрочем, и в любой другой форме. Но это, конечно, никого не колышет. Определенной категории читателей это неинтересно.

Патриотами обычно называют себя готтентоты, исповедующие классическую готтентотскую мораль: хорошо все, что хорошо для нас; так действуют наши враги, и следовательно, так должны действовать мы; чем меньше ценится человеческая жизнь, чем невыносимее условия существования в возлюбленном Отечестве – тем ближе оно к идеалу. Смешно и странно, что эта суицидальная садомазохистская концепция все еще смеет претендовать на роль государственной идеологии. Однако она смеет. И любая попытка ниспровергнуть ее называется разжиганием национальной розни.

Автор приносит свои извинения всем, чью межнациональную рознь он разжег.

У меня нет определенной, обязательной для читателя расшифровки аббревиатуры «ЖД». Читатель волен выбрать любую или предложить свою: железная дорога, живой дневник, желтый дом, жирный Дима, жаль денег, жизнь дорожает, жидкое дерьмо, жаркие денечки, жесткий диск, Живаго-доктор. Для себя я предпочитаю расшифровку «Живые души».

Истина открывается не для того, чтобы прятать ее в столе. Истина поднимает вокруг себя бурю исключительно для того, чтобы дальше разбросать свои семена. Я родился для того, чтобы написать эту книгу, и придумывал ее в последние десять лет. В ней сошлись мои

любимые сюжеты и главные мысли, которые всегда были об одном и том же, а именно – о бесприютности – самом страшном моем страхе. В моей стране мне тоже бесприютно, и это не только мое ощущение. Наверное, это плохая книга. Думаю, что она и не могла быть хорошей. Я предвижу реакцию, которую она вызовет. Скорее всего, это будет не только идеологическое, но и эстетическое отторжение, потому что это во многих отношениях неправильная книга. Я хотел бы написать ее иначе, но не думаю, что это возможно. Мне не так уж важно было написать хорошую книгу. Мне важно было написать то, что я хотел.

Дмитрий Быков.
Москва, май 2006

Книга первая Отправление

Часть первая Во стане русских воинов

Глава первая

1

К вечеру Громов со своей ротой взял Дегунино. Надо было торопиться: на ночную атаку не хватало сил, люди устали, а если бы со штурмом протянули до завтра, отпуск бы точно накрылся. Следовало любой ценой войти в деревню вечером семнадцатого июля, и он вошел, причем почти без потерь. На глинистом подъеме, на пресловутой шестнадцатой высоте, архитектор Краснов подвернул ногу и пополз к медику, который, наложив повязку, вернул его в строй. Прочие были целы и определялись теперь на постой по давно выбранным местам: Дегунино брали двенадцатый раз, у каждого давно была баба.

Ливень как зарядил три дня назад, так и не прекращался – иногда только ослабевал на четверть часа, собираясь с силами, и тут же опять принимался низвергаться, откуда и бралось. Дресва разлилась и пенилась, тошно было лезть в желтый, мутный поток – в обычное время Громов запросто перепрыгнул бы проклятую речушку, в которой по жаре и выкупаться было нельзя; теперь это было целое форсирование водной преграды. Стоило указать в рапорте. При форсировании отличился ефрейтор Ганнушкин, неожиданно принявшийся петь и тем поднявший дух войска. «Йэх, он уехал в ночь на ночной электричке!» – заорал ефрейтор дурным голосом, оскользаясь по дну, и дальше спел неприличный вариант про яички.

– Чему радуемся, Ганнушкин? – брезгливо спросил Громов. Настроение было похабнейшее.

– Дак как не радоваться, тыщ старший лейтенант! – оскалился тот. – Сейчас Машку за ляжку, да и баиньки!

– Ты смотри, как бы тебя самого... за ляжку, – ругнулся Громов. – Рота, не растягивайся!

В последний раз их выбили из Дегунина неделю назад, когда вдруг нагрянул казачий атаман Батуга со своими орлами – сытыми, тугими ребятами, от которых вечно несло самогоном, мясом и анашой. Казаки прискакали утром, бесшумно сняли дозорных и нагайками погнали сонных бойцов с насиженных мест. Большинство громовских не успели дотянуться до оружия – батугинцы распахивали двери, врываются в дома и за шиворот стаскивали солдат с печей и лавок. Это был позор. Громов не спал – второй месяц мучился бессонницей в ожидании отпуска, который в любой момент могли отменить, – и действовал в том бою героически, при других обстоятельствах непременно получил бы хоть благодарность в приказе, но уж слишком по-идиотски выглядело само дело. Двоих он все-таки уложил, но отойти пришлось. Казаки их не преследовали. Громов окопался в трех километрах от Дегунина, среди ровного подсолнухового поля, и начал готовиться к ответному штурму. Сколько сил

у Батуги, он толком не знал. Резерва командование не давало. От роты осталось пятьдесят человек – в принципе достаточно, чтобы попытаться выбить казаков, но кто его знает, сколько атаман наберет за последнее время по окрестным деревням. Семнадцатого разведка донесла, что в селе все тихо – пятидневная гульба с пальбой окончилась. «Дрыхнут, кэп, – на правах близкого друга фамильярно доложил Редькин. – Мы их теперь, бедных с похмела, голыми руками возьмем». Громов, однако, медлил. Ему не нравилась эта тишина. На войне никогда нельзя было действовать по расчету – всегда по наитию. Он понимал, что люди устали сидеть под дождем в окопах, что деревню надо брать, пока казаки не протрезвели, что у него отпуск через три дня, – но еще день проторчал в палатке, играя в подкидного дурака с ординарцем Папатай, и только в двадцать ноль-ноль дал сигнал к атаке. В лиловой полутьме, под толстыми теплыми струями шумного ливня они всползли на шестнадцатую высоту, растянутой цепью подошли к деревне и не обнаружили в ней ни одного батугинца. Вышибать было некого – казаки погуляли и ускакали. Громов рад был, что обошлось без боя, но понимал и то, что Батуга просто так не ушел бы – его ребята явно съели и выпили все, что имелось в Дегунине мясного и горящего, и им не хватило. Теперь, надо полагать, они грабили в Хабарове или Переяслове, а громовцам, стало быть, оставалось сосать лапу. После казаков, как после Карлсона, мало что оставалось.

– Это что же такое, Редькин? – бесконечно усталым голосом спросил Громов злополучного разведчика, с гримасой боли и наслаждения стаскивая облепленные глиной сапоги. Он сидел на лавке в горнице, прямо под портретом толстого усатого мужика, смахивавшего на Буденного.

– Тихо было, товарищ капитан! – от стыда и страха переходя на официальный стиль, оправдывался младший друг.

– Ти-и-ихо... – передразнил Громов. – В бога, в мать, в глушь, в Саратов... Когда воевать научимся, сержант? Так и хочешь всю жизнь в москвачах проходить?

Москвачами дразнили москвичей. Впрочем, остальные воевали еще хуже. На третьем году войны национальная гвардия была в плачевном состоянии – теперь ее обращала в бегство любая банда.

– Государственнички, вашу мать... Разведка доложила точно... Что мне теперь наверх рапортовать? Деревня взята без боя ввиду отсутствия противника?

– Так... трщ-кпгн... Доложим, что противник обращен в бегство!

– Давай лучше сразу доложим, что противник обращен в жабу. Скорее поверят. Фу, черт... Иди с глаз моих.

Редькин испарился. У него в Дегунине была красивая, рослая девка с соломенной косой – смешливая и придурковатая. Больше всего он боялся, что за такую разведку Громов закатает его на ночь в охранение и трогательная встреча не состоится, но в охранение Громов закатал Ганнушкина, которого терпеть не мог. Это было несправедливо, конечно, и в порядке компенсации пришлось отметить его в рапорте. Ганнушкин тоже собирался ночевать у своей дамы, именуемой Травка: родительница, наслушавшись опер из приемника еще в советские времена, назвала дочь Травиатой. Ей никто не объяснил, что Травиата – не имя героини, а профессия; Травка оправдывала имя, не отказывала никому, даром что собою была нехороша и ходила распустехой. Жила она неподалеку от дегунинского храма – странного архитектурного сооружения, подобного которому Громов не видел нигде: больше всего, вероятно, это было похоже на пень с грибами. Впрочем, кто-то уже называл так собор Василия Блаженного – но на том по сравнению с этим было гораздо меньше грибов. Ни в одной другой деревне – а их Громов за войну повидал – не было такой смешной и уродливой церкви. Травка имела к ней какое-то отношение – то ли убиралась там, то ли, поговаривали, даже служила в отсутствие призванного в армию попа.

– Связь, товарищ старший лейтенант! – Папатай подал ему мобильник.

– Заря, Заря! Я Земля, как слышно? – спросила трубка хриплым голосом полковника Здрока.

– Земля, слышу вас хорошо. Я в Дегунине, товарищ полковник.

– Какого хера ты там делаешь, Бонапарт долбаный? В войнушку поиграть захотелось? Населенный пункт взяли, ордена ждем? Будет тебе орден святого Геморроя первой степени, в жопу себе его засунешь, и затолкаешь поглубже, и четыре раза повернешь... – Здрока несло и могло нести еще долго, а мобильный у Громова садился, и карточек не подвозили уже неделю. – В Дегунине он сидит! Тебе русским языком сказано, что ты должен в Баскаково выдвигаться на соединение с Волоховым, чтобы совокупным ударом овладеть населенным пунктом Бобры, а они в Дегунине сидят и ордена ждут! (Во гневе Здрок от удовольствия путался в лицах и числах.)

– Я не получал такого приказания, товарищ полковник...

– Не получал он... – Здрок медленно выкипал. – Не получал, так получишь, я для того и звоню тебе, чмо красноармейское... Вам надлежит немедленно, немедленно выдвинуться в населенный пункт Баскаково! Скрытно, под покровом ночной тьмы... Магом шарш... Как понял, капитан?

– Товарищ полковник, ночь на дворе, люди устали, – без всякой надежды возразил Громов.

– Чта такое?! – заорал начштаба. – Ты мне приказы обсуждать? Барр-дак! Регулярная армия... Ты у меня в двадцать четыре часа! Трибунал! Чамора московская! Люди у него устали! На хрена ты на ночь глядя под дождем гнал людей в Дегунино, блядь желторотая!

– Я имел приказ отбить населенный пункт Дегунино.

– Приказ он имел! Имеют бабу... – Здрок опять вскипел; в последнее время он быстро достигал пика наслаждения, опадал и так же быстро возбуждался вновь. – Три метра люди у него прошли и устали... Скоро люди будут уставать жопу подтирать... Я даю вашим квашням полтора часа на отдых! Чтобы через пять часов мне было доложено, что отряд старшего лейтенанта Громова достиг Баскакова и соединился с Волоховым под покровом ночной тьмы!

– Есть, – безжизненно сказал Громов.

– Есть на жопе шерсть! – начал было Здрок выходить на новый круг, но тут в трубке зашуршало, пошли помехи, и от очередной порции армейского фольклора Громов был избавлен.

Он ненавидел Здрока. Именно из-за таких, как начштаба тридцать шестой гвардейской дивизии, и царил в армии бардак, который с начала войны усилился в геометрической прогрессии, и не было никакой надежды, что боевые действия что-нибудь в этом изменят. Таких, как Здрок, никогда не убивали. Этот человек с упорством идиота принимал наиболее бессмысленные решения – и добро бы дело ограничивалось только стратегической их нелепостью; начштаба всякий раз умудрялся сделать так, чтобы людям приходилось особенно гнусно. Ну как, в самом деле, гнать сейчас роту за пятнадцать километров, ночью, по грязи, на соединение с мифическим Волоховым? Хорошо хоть дождь утих – небо стало расчищаться, словно достаточно было взять Дегунино, чтобы восстановить в природе благодать и гармонию. Дороги, однако, успело развезти до глинистого месива; Громов выругался сквозь зубы.

– Конышев, дайте Баскаково, – приказал он связисту. Связист был один из немногих приличных людей в роте, все коды держал в голове и быстро набрал двадцать цифр.

– Дежурный по полку слушает, – сказал измученный голос.

– Дайте Селиванова. Дежурный шелкнул переключателем.

– Капитан. Селиванов, – хмуро представился громовский однокашник по калашниковским курсам.

– Костя, это я. Скажи, пожалуйста, Волохов у вас?

– С позавчера ждем, – подавив зевок, сообщил капитан. – Должен с кем-то соединиться и куда-то ударить. Задрал уже всех со своими орлами – никогда вовремя не приходит. Все говорят – Волохов, Волохов... Когда и что вообще сделал Волохов? Сроду никуда вовремя не дополз, элита, мля... Теперь он должен тут соединиться, мля... Жопкин хор.

– Это он со мной должен соединиться. Я к вам сейчас приду.

– Ты где?

– В Дегунине. Только что отбил, и вот тебе на.

– А... ну хоть пожрешь. У кого отбил-то? – Слышно было, что там, в баскаковском штабе, Селиванов ковыряет в зубах.

– У Батуги. Знаешь, казак этот?

– Не надо ля-ля! – захохотал Селиванов. – Батуга с утра в Литманове стоит, это от нас следующая станция! Гуди-ит – мама не горюй! Нет, Громов, слышь, про это надо в рапорте написать! Это как же ты у него отбил, что он драпал со скоростью света? Ты у него с вечера отбил, а он с утра в Литманове с Марусей гуляет! Силё-он, силен Громов, победитель пространства и времени! Погнал Батугу впереди собственного визга! – Селиванов долго еще разливался на эту тему, в последнее время в армии вообще очень много говорили.

– Ну ладно, – прервал его Громов. Селиванов уже не острил, а только мерзко хихикал, представляя, видимо, как Батуга бежит из Дегунина со скоростью света, а Громов преследует его на тачанке. – Он тут своих оставил, я ж не говорю, что его лично бил... Короче, я на рассвете выдвигаюсь.

– Выдвигайся, выдвигайся. Отметить нечем, все выжрали...

– Ладно, отбой.

Громов с тоской подумал о том, как он будет оповещать людей о предстоящем марше. Рота уже расположилась на отдых, грелась по дегунинским печкам, рассредоточивалась по равнодушно-щедрым, привычным ко всему дегунинским бабам, которые с одинаковой покорностью пускали на постой и в койку все воюющие стороны по очереди; уже, вероятно, доставали из погребов последнее, что удалось там наскрести после батугинской гульбы... При мысли о предстоящем марше и общем ропоте Громову стало окончательно тошно. Он решил с вечера никому ничего не говорить, а в три часа поднять людей по тревоге. Самому, конечно, лечь уже не имело смысла – он знал, что подняться в три ему будет трудней, чем прободрствовать пару лишних часов.

– Ладно, – отпустил он связиста. – Укладывайтесь вон в соседней комнате, если что-то срочное – будите. Папая, скажи там Гале, чтобы чего-нибудь собрала по-быстрому...

Он всегда стоял в этой просторной, приземистой, широкой и плоской избе, у немолдой, такой же широкой и приземистой Гали. Больше всего его изумляла неиссякаемость Галиных запасов: сколько бы армий, банд и орд ни прокатывалось через Дегунино, для всех из подпола извлекались огурцы, квашеная капуста, всяческие соленые травы, которых москвич Громов никогда не пробовал, – чабрец, тимьян, загадочный брандахлыст, – и густая дегунинская сметана, и ледяное молоко, и в печи всегда оказывался чугунок картошки, а то и пирог – «Поснедайте, освободители, как знала, только поставила». Это было тем более удивительно в деревне, в которой четверть домов сгорела и уж точно половина получила увечья в боях – где окна выбиты, где целый бок избы снесло; была у Громова даже догадка о том, что все воюющие стороны неспроста так любили брать Дегунино. Несмотря на все лекции московского агитатора Плоскорылова о великой стратегической важности дегунинского района, на все его геополитические рассуждения о клине, которым мужественный Север врезается в женственный Юг в этом именно месте, до которого Гитлер в сорок втором так и не добрался, не то исход войны мог быть совершенно другой, – Громов подозревал, что бесчисленным освободителям Дегунина просто хотелось жрать. На войне это дело не последнее, и ни одна

из окрестных деревень не предоставляла такой возможности накушаться, выспаться и понежиться на лежанке с пейзажной. За три года войны Громов брал никак не меньше полусотни населенных пунктов, уцелел под Орлом, четырежды сдавал и отбирал назад Троено, но нигде не встречал ничего подобного. Последние полгода, околавываясь в дегунином котле, громовская рота благословляла судьбу. В иных деревнях их проклинали, в других сдержанно радовались, успевши настрадаться под казачьей, а кое-где и под ЖДовской властью, – но нигде не видывал Громов того спокойного, кроткого удовлетворения, с которым Дегунино, подобно покорной любовнице, встречало новых и новых освободителей. Всех без разбору тут кормили, поили местным мятным самогоном и укладывали баиньки, – и сколько бы ни ярился Плоскорылов, требуя выявить и прилюдно расстрелять тех, кто сотрудничал с оккупационными властями, призывы его оставались без внимания; даже Здрок смотрел на такое небрежение сквозь пальцы. Громов подозревал (его слегка уже клонило в сон, после Галиной картошки и копченого сала в желудке чувствовалась приятная тяжесть и теплота), что если б даже и осуществился ублюдочный плоскорыловский план тотального расстрела всех дегуниных баб, и уцелела бы чудом, спрятавшись в огороде, какая-нибудь одна, – все равно при следующем взятии деревни у этой одной нашлось бы и водки, и сала, и картопли для счастливого победителя, и на печи она бы приголубила всех этих грязных, пахнущих тиной, истосковавшихся по ласке...

Спать нельзя было, но Громов спал, положив голову на чисто выскобленный, крепко сколоченный стол – огромные эти столы, словно рассчитанные на богатырское пиршество, были неременной принадлежностью всякой дегуниной избы, нигде больше он не встречал таких, – и сквозь сон до Громова долетал странный разговор.

Он чувствовал, что это Галя говорит с Паней, соседкой, полного имени которой никто не знал – Паня и Паня, курносая, веселая баба без возраста – ей могло быть и тридцать, и сорок, и больше сорока, – но во сне Паня была другая, грустней и серьезней, чем в действительности. Сквозь сон и Галя казалась моложе, тоньше, словно наедине с подругой, недоступная для чужих глаз, сбрасывала приземистое широкое тело и оказывалась тростиночкой, почти девочкой. Они переговаривались в Галиной комнате, где жила Галя когда-то с мужем, ныне, по ее словам, призванным в армию (Ганнушкин, впрочем, уверял, что все дегуниные мужики партизанят в окрестных лесах, а бабы их подкармливают). Теперь она спала там одна, Громов на нее не посягал – что ему было делать с кряжистой сорокалетней бабой, молчаливой, хмуро-доброжелательной и в жизни слова ему не сказавшей, кроме «Повечерять» да «Попечевать» (так называлось у нее «поспать на печи»)? Сквозь сон он слышал, как Галя и Паня ровными, высокими девичьими голосами (такими же ровными и высокими ему представлялись их волшебным измененными телами) смиренно жалуются на что-то и ласково друг дружку утешают. Говорили несомненно по-русски, но разобрать он мог лишь самый общий смысл произносимого – хотя слышал все так отчетливо, словно их и не разделяла бревенчатая стенка. Он не мог додуматься во сне, в чем была особенность этой речи – необыкновенно ясной и сильной. Речь, которую слышал сейчас Громов, была невозможна наяву – ему мерещилась его воплотившаяся мечта, прямой и точный язык без плоскорыловской водянистой, одышливой многоглагольности, без грязного солдатского трепа и развесистой казенщины рапортов; дегуниные крестьянки во сне говорили так, словно русский язык был им более родным – и они владели им с рождения в совершенстве, позволяющем всякую вещь назвать ее истинным именем. Некоторых слов он не понимал, о смысле других догадывался – настолько точен был звуковой образ предмета: называть ухват луницей, а курицу коченькой было до того удобно и естественно, что он и сам не понимал, как не додумался до этого раньше. Из ухвата уходила неприятная ухватистость, зато появлялась радостная готовность подать к столу тяжелый чугунок, на котором так и отсвечивал лунный луч. В курче-коченьке тоже была особая ласковость. Иные слова были ему знакомы, но употреблялись в странном,

несвойственном им значении – он улыбнулся во сне, услышав, что строй солдат называют почему-то задницей... Вместе с тем он не мог себе уяснить, о чем шел разговор: ясно было только, что и Гале, и Пανε несладко, и сейчас, изливая друг другу душу, они словно набираются сил перед новыми бесчисленными сдачами и захватами Дегунина. Громову казалось, что обсуждается также способность земли родить себе и родить, когда ей никто не мешает: работать некому, война, а она – вот диво! – родит лучше, чем при усиленной обработке, при всех властях, которые уродовали ее пахотой, мучили химией, а непрерывными спорами и командами отбивали всякую охоту плодоносить. Во сне Громову это показалось так просто – конечно, не надо ничего делать, и она будет родить сама, тяготясь избытком, как печка из сказки, как яблонька, – поешь моих пирожков, сорви моего яблочка, – и разговор об этой неутомимо плодоносящей земле сам собою перерос в песню, смысла которой Громов не понимал уж вовсе. Понятно ему было только настроение радостной тоски, словно перед долгой разлукой, за которой будет встреча – непременно будет, но совсем не та, какой ожидаешь. Мелодию вела Галя, а Паня сплетала и расплетала вокруг нее вторую тему, и выходила косичка. Душа Громова, счастливая своим долгом и ненавидящая его, ходила за мелодией, как подсолнух за солнцем. Можно было различить отдельные слова, все трехсложные, с ударением на и, – кручина, рябина, крапива, – и от упоминания рябины и крапивы все перед глазами Громова было зелено, вся песня была как заброшенный, разросшийся церковный сад, распирающий ограду, как глухой парк, какие он часто видел в освобожденных средне-русских городах. Грустно-радостный, густо-зеленый свет шел от песни, окутывал Громова, баюкал его, лечил изможденные больные глаза – и хотелось ему одного: чтобы рябина, крапива и кручина всё сплетались в косицу, всё не кончались; но уже тряс его за плечо денщик Папатья, и с каждой новой встряской прекрасные, единственно правильные русские слова вылетали из громовской головы. Проснулся он, помня только, что Папатья – как раз и есть правильное название чабреца... потом встряхнулся, окончательно сбросил сон и глянул на часы. «Командирские» показывали без десяти минут три.

– Объявляйте тревогу, – бросил он вестовому и пошел в сени ополоснуть лицо ледяной водой из бочки.

– Тревога! – радостно заорал вестовой, предвкушая увлекательное зрелище.

Папатья в соответствии с уставом носился по главной дегунинской улице, производя беспорядочные выстрелы в воздух. Вестовой забегал в избы с оглушительным воплем:

«Подъё-оом!», и громовская рота, живо помнившая недавний позор с нападением Батуги, скатывалась с печей и лавок, – не наматывая портянок, прыгала в сапоги, ибо не желала вторично обращаться в бегство под нагайками. Громов ждал перед сельпо, где всегда происходили построения. Через пять минут – ну, если быть вовсе точным, то через шесть, но для его орлов и двойное превышение трехминутного норматива было большой удачей, – заспанная, кое-как заправившаяся рота стояла перед ним в две шеренги. Небо расчистилось, и лишь пять-шесть дымных клочков разогнанной тучи растерянно висели над крышами. Пахло землей, травой, дымком – век бы не уходить отсюда. Громов вспомнил дачу, детство и подивился власти запахов над памятью. Столько всего было, одной войны три года, – а вспоминалась ему все равно дача, блаженная, радостная грусть при виде звезд в окне: вот он, пятилетний, с только что вымытыми босыми ногами, исхлестанными крапивой и искусанными подмосковным комарьем, стоит на коленях на старом венском стуле у открытого окна, и те же звезды, и так же пахнет, и сейчас мать почитает ему на ночь – он даже ощутил вдруг под ступнями прохладный дачный линолеум, по которому дунет в постель, чтобы его не застали так поздно глядящим в окно, тогда как давно уже пора под одеяло... Нельзя было позволять себе думать об этом, и Громов рывкнул:

– Рры-ота!

Все подобралось и вытянули руки по швам.

– Бар-р-дак... – с отрепетированной усталой брезгливостью, дабы не распускать людей, сказал Громов. – Воробьев, как стоите? Воротник застегните... Баранников, команда не для вас подана? Огуреев, почему не нашли времени привести сапоги в приличный вид? Два наряда на службу! («Есть два наряда на службу!») – хрипло ответил нескладный верзила Огуреев и закашлялся.) Даю установку. Через два часа нам предписано в районе деревни Баскаково соединиться с ротой капитана Волохова и объединенными усилиями нанести удар по противнику на указанном направлении, которое нам укажут в указанное время. Тьфу, блядь... Вы, вероятно, спросите – с каким противником? А хер его знает, с каким противником! Касающиеся люди вам доведут в указанное время! – издевательски отбарабанил он обязательную уставную формулировку. – До Баскакова переть пятнадцать километров, дорога раскиселась на хер, идти бойко, прытко, тяготы переносить стойко, смотреть кротко, в случае непредвиденной скользкости падать попко... в смысле на попку, дабы не измарать лицевой вид! Доступно ли я изложил, орелики комнатные?

Рота дружелюбно посмеивалась. Громова любили – он был, что называется, зубец, но не зверь.

– Налее-е-е... – с наслаждением потянул он и звучно выпалил: – Во!

Рота повернулась и колонной по два двинулась в сторону Баскакова под покровом ночной тьмы.

– Араз! Араз! Араз-дво-три! – привычно командовал Громов. Он с удовлетворением замечал, что противогазные сумки у ореликов раздулись – хозяйки понапихали постояльцам сальца, хлебушка и яблок от щедрот своей бесхозно родящей земли. Шли поначалу резво. Далеко, на востоке, густая ночь уже начинала мутно разбавляться – как медленно прочищается заложенный нос, когда перевернешься на другой бок.

2

– Паня! Паня! – сипло позвал родной голос. Паня, только пришедшая от Гали и прилегшая было на лавку, вскинулась и подбежала к окну.

– Миша! – ахнула она.

– Впусти, Панечка.

Она метнулась к дверям, торопливо откинула засов. Муж сгреб ее в охапку, обнял и от избытка чувств хрюкнул.

– Ах, Миша! А я и баньки не топила...

– Да что банька... – шептал муж. – Повидать хоть тебя, доню моя... Ушли эти-то?

– Ушли, все ушли! – радостно кивала Паня. – Казаки еще когда ушли, а эти сегодня в ночь...

– Я вчера хотел, – объяснял Миша, не выпуская жену из объятий, – но вчера не рискнули. Погодь, маленькая, я отсигналю...

Он выскочил на улицу и три раза шмальнул из огромной ракетницы, висевшей у него за поясом. Вскоре из ближнего леса, подковой окружавшего Дегунино, стали медленно выкапываться бородачи в ватниках. То было мужское население Дегунина, быстро расходившееся по избам.

Партизанство дегунинских мужиков сводилось к стойкому уклонению от армии. Каждый отряд освободителей, прокатывавшихся через деревню, норовил мобилизовать местное население, но бабы всем говорили, что мужики давно мобилизованы. Если иных интересовало, отчего молодайки брюхаты, – молодайки стеснительно объясняли, что освободителей много, есть среди них антиресные, не всякому и откажешь. Вербовщики плевали и махали рукой.

– Да привыкли уж, Панечка, – говорил муж, хлебая лапшу. – Как и родился в лесу. Кабы с тобой, так вовсе бы рай.

– Скучаю я, Мишенька, – улыбалась Паня.

– Ой, доню моя, – вздыхал Миша. – Ладно, сейчас на печеньку – и баиньки. Утречком самый сон...

Глава вторая

1

Генерал-майор Пауков был горд, что у них с его кумиром родственные фамилии. Сходство по признаку насекомости казалось ему ничуть не забавным и даже символическим. В разнице же фамилий сказывалась новая тактика современной войны: великий предшественник, как жук, катил на сияющую вершину победы навозный шар солдатской массы, – генерал Пауков, как паук, сплетал и раскидывал по стране хитрую паутину коммуникаций и ловил врага в сети неисследимых дозоров. Нынешний враг был коварен, и весь он был внутренний. Внешний давно не совался в это заколдованное пространство, опасаясь, должно быть, паутины. Внутреннего врага следовало вычленять, окружать, оплетать, караулить, обездвигивать и размозжать. Так формулировались шесть пауковских пунктов – главных правил, сформулированных им в новом боевом уставе. Сейчас они с Плоскорыловым доводили этот устав до ума.

Двадцатисемилетний, пухлый, одышливый капитан-иерей Плоскорылов был, с точки зрения Паукова, идеальный политрук. Он понимал священное – или, как он любил говорить, сакральное – значение каждой буквы в уставе. То, что могло неармейскому человеку показаться бессмыслицей, на самом деле бессмыслицей и было, но эта великая тайна не для всех. Могучую системообразующую силу бессмыслицы – ибо все смыслы могут когда-нибудь оказаться неверны, бессмыслица же никогда, – понимали по-настоящему только военные люди, и Плоскорылов был, несомненно, военная косточка при всем своем штатском виде, ласковом голосе и патологической неспособности к стрельбе. Дед его был штабист, прадед – белый генерал, перешедший на сторону красных. Генерал благополучно пережил террор и погиб на охоте, от клыков кабана – «идеальная офицерская смерть», говорил Плоскорылов. Он считал неприличной гибель в бою: генералов не убивают. Кроме того, Плоскорылов знал Философию Общего Дела. Эта высшая штабная дисциплина, преподававшаяся только на богословском факультете военной академии, была Паукову недоступна, но Плоскорылов уверял, что генерал-майор постигает ее интуитивно. Все распоряжения Паукова столь явно служили Общему Делу, что Плоскорылов, попросившийся к нему в штаб после выпуска, теперь постоянно благословлял свою дальновидность. Несомненно, в армии был сегодня только один блестящий русский генерал, и этот генерал был Пауков.

Пауков был блестящ, о, блестящ. Сладостен был запах «Шипра», исходивший от него; квадратный, топорно топорщащийся, это самое, китель нескладно облегал его скособоченную, словно обрубленную фигуру. Пауков говорил резко, отрывисто, команды подавал с такой яростью, словно от рождения ненавидел всех своих офицеров и солдат, – в этом смысле он был истинный варяг, природный северянин, чья генеральная цель не столько захват земель или обращение в бегство противника, сколько максимально эффективное истребление собственных войск. Плоскорылов, будучи младше комдива двадцатью годами и лишь недавно получив капитан-иерейские звездочки, чувствовал даже некоторую неловкость от того, что знал больше. Но Пауков, казалось, догадывается обо всем – даже и о том, чего сам Плоскорылов на своей шестой ступени еще не постиг.

Седьмая ступень окончательного посвящения считалась в армии большой редкостью. Она и на высших этажах государственной службы была не у всех. Коротко знаком Плоскорылов был только с одним ее носителем – военным инспектором Гуровым, нет-нет да и посещавшим штаб тридцатой дивизии с личной проверкой. Гуров явно выделял Плоскорылова, был с ним откровенен и при встречах целовался. Как все тевтонцы седьмой ступени, инспектор был наголо брит, носил очки, френч и отпустил небольшую клочкообразную бородку. Плоскорылов уже предвкушал, как сам заведет такую же, – пока, в капитан-иерейском звании и на шестой ступени, борода ему не полагалась. Гуров обещал устроить ему инициацию в начале августа, и Плоскорылов думал об этом дне с радостной детской тревогой. Он не знал, в чем заключалась инициация, но ждал чуда. Ему представлялось, что весь мир хлынет в его распахнутую грудь и одарит своими тайнами, которые после раскрытия не покажутся простыми и бедными, о нет! – а лишь яснее выявят свою звездноносную мистическую глубину. Иглы мирового льда представлялись ему; острые кристаллические грани; полярное сверкание, скрежет и хруст, фиолетовая бертолетова соль. Далеко, на истинном полюсе, куда сходились силовые линии мировых судеб, воздев к черному небесному бархату лопаты ладоней, застыл Верховный Жрец, отец народов Севера, звездный тевтон с картины Константина Васильева; покорить ему моря и земли, сложить к его ногам пестрые флаги мира, заменив их одним, черно-голубым, доложить ему о Конце Концов, с которого начнется новая эпоха титанов... о, Плоскорылов знал, что доживет до этого черно-голубого дня.

Пока же политрук тридцатой дивизии читал офицерам лекции, в которых осторожно намекал – не проговариваясь, конечно, прямым текстом – на истинную цель войны и сверхзадачу армии; тех, кто догадается, следовало выделить и незаметно продвинуть в академию. Увы, истинных варягов было в армии немного. И не то чтобы всех перебили в первые три года войны – варяги были не дураки бросаться в гущу боя. Элита не гибнет, она не вправе отступать от высшего долга – командовать жалким, не понимающим своего назначения мясом. Даже и в критической ситуации офицер обязан был первым делом думать о спасении собственной жизни, а уж потом – о своих людях; людей много, офицер один. В этой формуле – тайном варяжском девизе «Вас много, я Один» – отражалось классическое соотношение оккупационных войск и коренного населения; правильное ударение в имени верховного божества было, конечно, на втором слоге, – не зря с этого имени начинался варяжский счет. Бог наш Один, он же Велес, и другого не дано; «велик Один наш бог, угрюмо море». Собственно, в классическом языке древних россос было всего два числа – Один и Много, то есть вождь и остальные. Варяг, рожденный повелевать массой, попросту не имел морального права рисковать собой. На лекциях перед офицерским составом изобретательный Плоскорылов пояснял это так: «Представьте себе, что мать с ребенком крадется ночью через лес, полный опасностей. Напали волки. Что делать? В идейно сомнительном рассказе для детей, выдержанном в антирусской гуманистической традиции, мать отдается на съедение волку, а ребенка заставляет бежать к людям через лес, полный опасностей. Разумеется, ребенок, оставшись без надзора, немедленно погибнет в лесу, полном опасностей, а если даже и спасется.

Но неизвестно, кем еще вырастет без матери. Тогда как отдав на съедение волкам ребенка, сама мать еще могла бы спастись в лесу, полном опасностей, и впоследствии послужить Родине. Так и офицер, как истинная мать, не имеет права оставлять солдата одного в полном опасностей мире, а должен прежде всего озаботиться собственным спасением, чтобы сохранить в неприкосновенности офицерский корпус. Подумайте, сколько сил потратило государство на воспитание истинного офицера и каким возмутительным разбазариванием средств была бы ненужная самоотверженность, навязанная нам хазарскими извращениями христианства!» О том, что христианство – вообще подлая хазарская выдумка,

запущенная в мир для его погубления, говорить пока не следовало: даже на богословском факультете это сообщали только на третьем курсе.

Нет, причина падения боевого духа была не в том, что варягов убивали. Во всех войнах, которые вела Россия, популяция северян оставалась почти нетронутой: варяг как истинный воин Одина мог погибнуть на пирушке, на охоте, на бабе, как славный генерал Скобелев, – но умереть в бою было бы для него еще постыднее, чем околоть за плугом или, не приведи Один, шитьем. Увы, слишком долго и безответственно сходились воины Севера с дряблым коренным населением; податливость и безволие, проникли в кровь северян. Все вырожда-лось. Актуализация древнего зова удавалась не всегда. Обычно нацию очищали и обновляли войны, но эта новая война радикально отличалась от предыдущих. Офицеры не только с трудом, чуть ли не пинками поднимали солдат в бой, но и сами шли в атаку без особой охоты. Плоскорылов, наблюдая за боевыми действиями с почтительного расстояния через стерео-трубу, приходил в отчаяние. Не самому же политруку с высшим военно-богословским обра-зованием хвататься за оружие! Все попытки поднять боевой дух войска регулярными рас-стрелами перед строем заканчивались ничем. В первый год войны Плоскорылов мог собой гордиться – от рук его расстрельной команды пало в полтора раза больше народу, чем госу-дарственники потеряли в столкновениях с хазарами и горцами. Наглые ЖД в разлагающих листовках кричали о чудовищных фактах – солдаты русской армии гибли главным образом от рук соплеменников; Плоскорылов лишь усмехался – знали бы они истинные цифры! Жен-ственный Юг, ценивший комфорт и уют, дрожавший за жалкую человеческую жизнь, – как мог он воевать с титанической варяжской армией, для которой физическое бытие солдата было не дороже ячменного колоса! Но в последний год осуществлять варяжскую стратегию было затруднительно – солдат не хватало даже на кухонный наряд. Расстрелы приходилось производить лишь по праздникам, в дни особенно почитаемых святых, – и боевой дух вой-ска неуклонно падал. Армия была не та, и с каждым днем становилась все более не той. Только Пауков воплями и разносами мог еще внушить войскам священный ужас, но и он в последнее время как будто был не прежний.

2

Генерал-майор Пауков и точно был не прежний, хотя порывался еще сохранить обычаи и манеры блестящего офицера в лучших традициях варяжского генштаба. Утром девятна-дцатого июля он встал по обыкновению в половине седьмого, приказал окатить себя ледяной водой из баскаковского колодца, сделал легкую гимнастику по офицерскому руководству, приложение пять, – двадцать наклонов влево, двадцать вправо, «ласточка», «крылышки», пятнадцать приседаний, – побрился тупой бритвой «Нева», обрызгался «Шипром», обла-чился в отутюженную ординарцем форму и направился с обычным утренним визитом к актрисе Гусятниковой.

Сорокалетняя толстеющая Гусятникова сохраняла еще следы былой красоты. Она оказалась в Баскакове с актерской бригадой. Пока на фронтах была передышка, в штаб трид-цатой дивизии постоянно наезжали столичные гости в рамках программы политического воспитания войск. Сначала нагрянул «Аншлаг», распотешивший солдатню до звонкого сол-датского пуканья; особо знатно изображали ЖДов – жирных, с портфелями. Потом писа-тели – тоже целая бригада, прикомандированная отчего-то именно к Паукову; позже на него свалились гастроли Нижегородского театра Русской Армии. Это получалась уже не служба, а одно бесконечное культмассовое мероприятие; может, им еще и бордель из Москвы при-везти? И так не осталось во всех окрестных деревнях девки неотжаренной; и так подво-ротничков не меняли по три дня, забыли солдатскую гигиену, ходят в чирьях, – нет, им

прислали театр с обязательным предписанием смотреть спектакли и все это время кормить артистов. Артисты приехали в самом деле голодные – в Нижнем, как и в прочей провинции, театры давно позакрывались за ненадобностью, единственный шанс выжить во время войны был именно давать концерты в войсках; но и концерты у них были, прямо сказать, псивые, не то что «Аншлаг». Одно название что театр. Сначала читали какие-то басни, изображали медведя и лису, потом показали солдатам отрывок из сказки «Колобок», с переделанным про ЖДов текстом, потом разыграли целое действие из пьесы «Солдатская мать» – про дезертира, который сбежал под мамкину юбку, а мамка его заложила военкому и закатала обратно на фронт. Пьеса была хороша в политико-воспитательном отношении, особенно выразительна была солдатская мать – тугая, сочная женщина. У солдат, однако, это вызвало нездоровые реакции – среди рядового состава многие неприлично громко обсуждали, что хотели бы иметь такую мать и показали бы ей много интересного, так что в целом пьеса не вызвала нужных эмоций. Артисты отыграли три концерта и должны были свалить, но захотели остаться – в Нижнем, говорили они, давно жрать нечего, а тут все-таки войсковое довольствие. Особенно нагло вел себя нерадивый сын солдатской матери, он же постановщик пьесы – уминал, сволочь, тушенку так, что рыха трескалась; Пауков побежал к политруку, тот запросил Москву – но Москва подтвердила, что артистов надо принимать, иначе сорвется план воспитательной работы. Артисты харчились у них еще неделю, переиграв весь классический репертуар. На прощание – от радости, что свалят наконец, – Пауков приказал всем выдать по стакану спирта и сам выпил, а выпив – принялся почему-то гусарить. Стыдно вспомнить. Блестящий русский офицер. Пил спирт из тувельки (не очень чистой, тридцать девятого размера). Чуть не задохся от натуги, поднимая на руки солдатскую мать Гусятникову, и даже стал перед нею на одно колено, а уж каблуками щелкал так, что сбил набойки к чертовой бабушке. Сулил поставить на все виды удовольствия. Читал стихи – сначала из «Офицерского письмовника» («Жасмин хорошенький цветочек, он пахнет очень хорошо»), потом, по просьбе артистов, из «Офицерской азбуки»: «Давид играл на арфе звучно, драть в сортире очень скучно». Распустил хвост, показал настоящий армейский шик – было бы перед кем метать бисер! В ту же ночь Гусятникова ему отдалась, а когда все уехали – осталась.

Паукову поначалу льстило, что настоящая артистка, хоть и из Нижнего Новгорода, будет жить теперь при нем в расположении его штаба – и у него, вот уже три года как оторванного от родной семьи, толстой жены и двух уродливых дочерей, будет своя полевая спутница, как и положено на настоящей войне. Он что-то читал подобное. Гусятникова вызвалась каждый день декламировать стихи по деревням, где были расквартированы солдаты из его дивизии, – и в самом деле, надев единственное концертное бархатное платье, терзая потный платочек, читала солдатам по вечерам, вместо телепросмотра информационной программы:

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города...

Солдаты уже не решались отпускать шутки про то, как она лежит и как бы хорошо ей всунуть пушечку куда-нибудь в Кушечку, потому что Гусятникова была теперь уже не приезжая артистка и не солдатская мать, но полевая жена генерала Паукова, отнюдь не любившего шутить. Программа «Время», конечно, была бы интересней. Все-таки краешком глаза посмотреть на гражданскую жизнь – тетки в летнем, мороженое... За месяц актриса успела не по одному разу выступить во всех деревнях вокруг Баскакова. В услужение ей Пауков назначил солдатика – по рекомендации собственного ординарца, который обрадовался случаю пристроить земляка. Первую половину дня Гусятникова проводила в избе, томно

нежась, ежась, красясь, жалуясь на судьбу то хозяйке, к которой ее определили на постой, то денщику Тулину. Пауков уже две недели как не ночевал у нее – при трезвом рассмотрении солдатская мать оказалась толстой, неловкой и совершенно ненасытной. Паукову в сорок восемь лет было трудно удовлетворять ее прихоти, поэтому он навещал ее лишь иногда. Сначала это казалось Гусятниковой проявлением особого армейского шика, потом настояжилось и даже обидело. Теперь, после двух недель отдельного проживания, она говорила с ним низким, грудным голосом, с многозначительно-трагическими интонациями, выкатывавая коровьи сливовые глаза, – словно он ее соблазнил и бросил. Паукову страшно хотелось послать актрису куда подальше, но блестящий русский офицер не мог кричать на женщину и отказывать ей в приюте.

Утром девятнадцатого Пауков зашел к ней, как всегда, – деликатно постучавшись согнутым пальцем.

– Ах, минутку, я не одета, – простонало из горницы. Пауков пять минут прождал у двери.

– Что она там, химзащиту надевает, что ли, – буркнул он про себя и постучал снова.

– Да, войдите, – ответила Гусятникова, чем-то шурша. Пауков вошел. Гусятникова в пестром халате китайского шелку в изысканной позе лежала на широкой деревенской кровати, среди живописно разбросанного тряпья. Неряшливость ее была чудовищна.

– Здравствуйте, генерал, – томно произнесла она. Несмотря на ранний час, на лице ее Пауков обнаружил сизоватый слой грима. – Я польщена вашим посещением. В последнее время вы меня нечасто балуете. Все дела службы?

– Война, – сурово сказал генерал. – Война – наша работа, Катерина Николаевна, и требует всечасного напряжения всех сил.

– Да, да, и не говорите... Но когда же, по-вашему, кончится эта ужасная война?

– Этого я, как человек военный, не могу знать и разглашать, – ответил Пауков. – Военный человек, хотя бы даже и имея секретное сведение, не может его разглашать никому. Дата окончания войны, она же время «Щ», не может быть разглашаема ни при каких обстоятельствах, равно как и численность, снаряжение и наименование вероятного противника, а также и самое его наличие.

Пауков не мог упустить случая блеснуть перед штатским существом формулировкой из своего проекта.

– Я так боюсь за вас, – протянула актриса.

– Что же делать, это так положено. Но русской актрисе не следует бояться за русского генерала. Я при первой встрече особенно оценил вашу выправку, – подпустил генерал обязательного ежеутреннего комплимента.

– В русском классическом театре это называют статью, – кивнула Гусятникова.

– Да, да. Классическая женская выправка. Вы не должны поддаваться бабьим страхам. Всем этим, знаете, истерикам. Мы солдаты, и если нужно, то не раздумывая и грудью. И так же вы. Это такое наше русское дело.

Повисла пауза. Набор офицерских комплиментов был высказан, почтение к русскому классическому театру продемонстрировано. Паукову пора было идти к войскам, но Гусятникова продолжала пялиться на него многозначительным, влажным и не отпускающим взором.

– Но хотя бы где противник, вы можете сказать? Предвидятся ли атаки? Я страшно боюсь стрельбы... Вы должны будете предупредить меня загодя. Ваше общество мне дорого, – она многозначительно потупилась, – и я успела полюбить ваших солдат...

– Солдат есть... да... да, – сказал Пауков. – Солдат есть да, инструмент любви к Отечеству. Тонкие энергии и все это. Возвышенное чувство проникает и направляет, и торсионные поля... – Упомянув торсионные поля, он окончательно исчерпал свой светский репертуар. –

Мы ценим ваше мужество, Катерина Николаевна, – сказал он, как должен был в его представлении говорить блестящий офицер: отрывисто, лающе, с ледяной вежливостью рьяного служаки. – Но рекомендую вам в самое ближайшее время покинуть расположение штаба, потому что война есть непредсказуемое занятие, в котором каждый из нас не может сегодня знать того, что надо было делать вчера.

Это тоже была славная армейская мудрость, которую он намеревался со временем обнародовать в записках.

– Вы только и можете повторять одно, – сморщившись, брюзгливо заговорила Гусятникова. – Можно подумать, что ВЫ мной тяготитесь.

– Никак нет, этого не может быть ни при каком угле рассмотрения, – выдавливал из себя Пауков последние запасы воинского красноречия. – Как не может цветок тяготиться пчелкою, так не может старый солдат тяготиться присутствием прекрасной половины человечества, пышным букетом украшающей этот ломящийся от яств стол... (Пауков сам не заметил, как перешел на классический офицерский тост: пока офицер в силах был произнести эту фразу, полную хитрых шипящих согласных, он считался еще не пьяным.)

– А между тем ради вас я оставила любимого человека, да! – не останавливалась Гусятникова. – Святой человек, беззаветный служитель искусства. Вы говорили, что истинный ценитель женщины – только офицер. Теперь я вижу, как вы меня цените! Вы обещали мне заботу и внимание. Но вас я почти не вижу, и все это вы мотивируете делами службы! Какие могут быть дела службы в перерыве между военными действиями! Вы наверняка пьянствуете где-то со своими подчиненными и с нетребовательными местными девками, а женщина культурная вам уже не под силу, ибо в ее присутствии вы ощущаете себя бурбоном! Да, да, бурбоном! Я целыми днями заперта в грязной избе, со мной только этот тупой Тулин, мы не развлекаемся, у нас нет балов! Вы не можете обеспечить даже, чтобы солдаты хорошо слушали, когда я им читаю! Я несу им свою душу, а они в задних рядах подшиваются! Я не понимаю, почему, в конце концов... Я вправе требовать...

– Молчать! – заорал Пауков, багровея. – Мне, боевому генералу! Сука! Блядь! Встать! Сесть! Я покажу тебе «раскинув города», старая пердунья! – И, запустив в Гусятникову ведром, выскочил на улицу.

В это же самое время Плоскорылов читал первую утреннюю лекцию офицерам дивизионного штаба. Пока рядовые под наблюдением сержантов занимались уже третьим за утро подметанием дворов и выравниванием плетней по бечеве, офицеры собирались на занятия по геополитической подготовке.

Плоскорылов с детства любил варяжский воинский дух, офицерскую прямоту стана, презрение к работе, отношение к солдату как к неодушевленному предмету – ибо если видеть в нем одушевленный, перестает срабатывать норманнская концепция великой жатвы. Сама мысль о наемной армии была в плоскорыловской среде невыносима: она оскорбляла воинскую идею. Единственная думка солдата должна быть не о семье, не о денежном довольствии и даже не о Родине, но исключительно о посмертной славе – каковую славу и призван был обеспечивать Плоскорылов; тут бы он не подкачал. Плоскорылов обожал мертвого солдата. Только мертвый солдат, установленный на площади в виде памятника, назидательно поминаемый во время молебствий, торжественно называемый Неизвестным, – был абсолютным воплощением норманнского духа, ибо утрачивал личность, на войне излишнюю. Личностью мог обладать командир, она наличествовала у политрука и являлась важным компонентом смершевца, – но личность солдата упразднялась идеей варяжской доблести. Единственное устремление маленькой, некрасивой воинской единицы в серой шинели, с неумело замотанными портянками (Плоскорылову отчего-то именно таким, слегка трогательным, представлялся типичный рядовой) должно было направляться к гибели, возможно более скорой; не героическими деяниями и не совершенно излишней в воинском

деле смекалкой (какая может быть смекалка, если есть твердо поставленный приказ!), но исключительно живой солдатской массой можно было одолеть любого врага, решая тем самым обе генеральные задачи: порабощение противника и сокращение собственного войска. Дорогу к победе следовало мостить телами – это понимали немногие избранные военачальники. Кумир Паукова и сам Пауков были из их числа. Всякое дело прочно лишь постольку, поскольку под ним струится кровь – разумеется, не драгоценная кровь элитного варяжства (Плоскорылов вел род от личного сокольничего Рюриковых сыновей), а черная кровь земли, нефть войны, щедро отжимаемый сок рядовых. Солдат, солдат – есть тот же виноград; не жать из него сока – не будет и прока, гласила армейская мудрость из сборника речений преподобного Евстахия Дальневосточного, архиполковника ДальВО. Из ДальВО редко кто возвращался живым даже и в мирное время.

К сожалению, довести население до идеальной численности не удавалось никак: оно всякий раз умудрялось быстро восстановиться, и Плоскорылову виделся в этом несомненный пережиток варварства. После очередной чистки в стране становилось легче дышать – в юности, готовясь в историки, он с особенным наслаждением перечитывал источники, относящиеся ко временам таких разрядок; но как же быстро все засорялось! Как скоро опять начинали кишеть по углам какие-то дети, ныть – какие-то старики; как быстро жизнь плебса входила в колею, отторгая великие воинские добродетели! Элита, призванная направлять и благословлять, растворялась в слепой, шевелящейся, жаждущей зрелищ и размножения людской массе; в этом разложившемся, гнилостном субстрате всю хозяйничали невыводимые хазары, и приходилось вновь и вновь изыскивать поводы для великого похода. Чем дольше был мирный промежуток, тем неохотнее мобилизовывалось население; ЖДы за деньги готовы были предоставить любую справку о нездоровье (меж тем как сами воевали все отчаяннее) – короче, война назрела; не совсем, правда, ясно было, как объяснить ее необходимость обычным офицерам, академий не кончавшим и вообще по большей части получившим военное образование на спецкафедрах гражданских институтов, где не умели внушить правильного мировоззрения. Плоскорылов так и эдак подбирался к сути, намекал – но всякий раз пасовал перед откровенной скукой на лицах слушателей, а рассказать всю правду не мог. Даже о варяжской оккупации сообщалось только на пятой ступени – до нее все обучавшиеся искренне считали русских коренным населением.

Несмотря на все эти трудности, Плоскорылов любил читать лекции. Он чувствовал себя отцом всех этих людей – и даже немного матерью. Как известно, любой мыслитель предпочитает выстраивать то мироздание, в котором ему, с его комплекцией и темпераментом, наиболее комфортно; Плоскорылов рожден был благословлять идущих на смерть.

Он любил мертвых нежной, тонкой любовью; ему было среди них отлично. Они не могли ему возразить и не скучали, слушая его. Ему особенно удавались проникновенные, несколько бабьи интонации; его голосом могла бы говорить Родина-мать с известного плаката, неумолчно зовущая в могилу вот уже которое поколение бессовестно расплодившихся сыновей. Призывая отважно погибнуть во имя Русского Дела, Плоскорылов уже немного и оплакивал погибших, которые пока еще в живом, несовершенном виде сидели перед ним в душевной избе, переоборудованной им в Русскую Комнату. Он немедленно вывесил в ней портреты Леонтьева, Шпенглера, Вейнингера, Меньшикова, Ницше и других милых его сердцу истинных норманнов, а на доске, экспроприированной в сельской школе, давно пустовавшей и наполовину развалившейся, рисовал геополитическую схему борьбы Севера с Югом.

Предметом нынешней его лекции была очередная годовщина великого танкового сражения. Излагать норманнскую концепцию последней войны надо было осторожно – даже среди офицеров не все правильно понимали подлинные задачи воевавших сторон и глубокую единоприродность норманнского духа, управлявшего обеими армиями. Плоскорылов

лишь намекал на подлую роль Англии, которая в последний момент поссорила двух титанов, подписавших пакт о вечной любви. На стороне Англии активно действовали ЖДы, отлично понимавшие, что после воссоединения арийских сущностей им окончательно не жить. К этой лекции Плоскорылов готовился особенно тщательно, подбирая такие слова, чтобы думающее офицерство поняло, а обычное ничего не заметило.

– Господа офицеры! – крикнул дежурный по Русской Комнате, прапорщик Крутлов. Все встали. Плоскорылов в длинной рясе с золотым аксельбантом протянул дежурному полную влажную руку для поцелуя и милостивым кивком благословил собравшихся. По сердцу его прошла теплая волна. Было необыкновенно приятно, хотя и чрезвычайно ответственно, в двадцатисемилетнем возрасте уже пасти народы; не зря на богословский факультет Военной академии Генштаба конкурс был до двадцати человек на место.

– Дорогие собратья, сегодня мне хотелось бы побеседовать об идее Севера, – начал он уютным богословским распевом. – Долгие годы хазарские историки-наймиты отвлекали наше внимание от главного противостояния – борьбы Севера с Югом, навязывая русскому сознанию искусственную борьбу Востока с Западом. Восток и Запад якобы сошлись и в последней великой войне, в этой битве народов, о которой и поныне благоговейно помнят правнуки победителей. Между тем это было не противостояние мифических западников со столь же мифическим Востоком, а смертельное объятие двух могучих титанов Севера, великих братьев, которым стало тесно в одном мире. Глубокая единоприродность связывала борющихся, русский дух преградил путь могучему немецкому, – так сталкиваются в небе две тучи, производя гром и блистание и заставляя потрясенных зрителей дивиться силе Божией. Русский брат прильнул к устами тевтонского смертельным поцелуем – и мускулистый титан задохнулся в стальном объятии. Плодами победы пытались воспользоваться враги обоих режимов, и прежде всего мировое хазарство, поднявшее голову, – но дальновидным решением русского вождя хазарам была отведена отдаленная резервация, и русско-тевтонское дело продолжилось на сорок лет. За эти сорок лет было достигнуто многое – осуществился космический полет, человек шагнул в ледяную благодать Космоса, – однако хазарский реванш остановил триумфальное движение русской судьбы. Сегодня мировой Юг снова тщится отнять у человечества понятие ценностей, подменив все ценности примитивной, растительной жаждой жизни, он растлеивает и разлагает миллионы, и прежде всего метит в нас – в последний оплот мирового духа. История делается сегодня здесь, в дегунинском котле, где Север и Юг сошлись лицом к лицу. Дегунино – геополитическое сердце Евразии, и тот, кому оно будет принадлежать, получит власть над миром...

Так он говорил еще минут примерно двадцать, зная, что последние десять лучше всегда оставлять на вопросы. Офицеры проявляли удивительную изобретательность в придумывании вопросов. Если вопросов не возникало, Плоскорылов ябедничал в штабе, и тогда все участники политзанятий получали взыскания за незаинтересованность – прощай отпуск.

– Господин капитан-иерей, – спросил капитан Селиванов, – а как с точки зрения борьбы Севера и Юга закончился конфликт ислама и Соединенных Штатов? А то, знаете, солдатики интересуются, кто все-таки победил...

– Солдатикам, – посуловел Плоскорылов, – следовало бы больше интересоваться строевой подготовкой как основой воинской дисциплины в русском духе. Но если вы позволяете солдатам задавать общеполитические вопросы, рекомендую отвечать кратко: читай устав, в нем есть все. Согласитесь, господин капитан, что при вдумчивом чтении устава в нем можно найти исчерпывающий ответ на любые вопросы, от бытовых до богословских. Сошлитесь, например, на параграф пятнадцатый строевого завета от Паисия Закавказского: «Аще же кто усомнится в своей воинской мощи, убоясь вероятного противника, тому позор и поругание перед лицом товарищей и три наряда на службу».

Селиванов испуганно умолк. На самом деле у Плоскорылова не было ответа на каверзный вопрос. Ислам был наш форпост на юге, друг и партнер, терпящий бедствие, но не признаваться же в этом публично! С тех самых пор, как был открыт флогистон и перестала что-либо значить черная кровь земли, у ислама не было никаких шансов противостоять Каганату и насквозь прохазаренным Штатам. Полная изоляция России от прочего мира, позволившая ей наконец без помех разыгрывать свою торжественную мистерию, происходила единственно оттого, что она оказалась в числе государств, не имевших флогистона. Непонятно, как в стране, столь богато оделенной от Господа лесами, реками, нефтью, юфтью, финифтью, пенькой и ворванью, не нашлось пустякового газа, которого никто никогда не видел и на котором таинственно держалась теперь вся мировая промышленность. На флогистоне ездили автомобили, бездымно работали фабрики, делались бешеные деньги – а Россия по-прежнему ездил на бензине, которого у нее теперь хоть залейся, ибо нефти никто не покупал. Запасы флогистона обнаружились везде – в Штатах, в Африке и даже в Антарктиде; в хазарском Каганате его было столько, что в стране не осталось участка земли без скважины, – не было его только на исламском Востоке и на всей российской территории, строго по фанице; оскорбительное издевательство природы начиналось немедленно за российскими пределами, в презренной Польше. Из-за проклятого газа прекратилась столь перспективная была война на Ближнем Востоке, где Штаты увязли накрепко; ислам из мировой религии сделался чем-то провинциальным и почти вегетарианским. Честно сказать, Плоскорылов ненавидел флогистон. Он не до конца в него верил. Это явно было подлое хазарское изобретение, и конспирологическая теория выходила на диво стройной; оставалось понять, как на этой грандиозной ЖДовской лжи крутятся моторы.

Плоскорылов и сам сознавал, что ответ его вышел неубедителен, но основой варяжской контрпропаганды как раз и была неубедительность – поскольку солдат и младший офицер должны были верить не аргументам, а мощи. Слаб контрпропагандист, который на вопрос об успехах вероятного противника или преимуществах хазарского образа жизни начинал отвечать всерьез и с цифрами. Истинный политрук в ответ на такой вопрос либо заносил солдату звездюлину в грудак, либо – если был брезглив или, подобно Плоскорылову, страдал одышкой – сдавал его в Смерш, где солдату быстро все становилось понятно, ибо перед смертью, говорят, человек сразу все объекает умом, только не успеваешь поделиться. Офицеры понимали, что задавать вопросы следует осторожно, – их, конечно, Плоскорылов сдавать бы не стал, как-никак офицера надо беречь, сам же учит, но стукануть в штаб может, а там попасть под раздачу несложно, сыскался бы предлог. Поэтому ни о чем интересном больше не спрашивали – интересовались, например, следует ли наказывать нерадивого солдата лишением переписки с семьей, или эта мера отмечена как способствующая бегству. Плоскорылов радостно сообщил, что процент беглецов за последний год снизился почти в полтора раза, а бежавшая из заключения глава комитета матерей Стрельникова поймана на китайской границе и водворена в читинский лагерь усиленного режима. Эту благую весть он приберег под конец, но был у него для господ офицеров и еще один сюрприз – дева Ира.

Деву Иру возили по дивизиям больше полугода. До пятнадцати лет она развивалась нормально, но в начале третьего года войны у нее начались видения, она услышала голоса и ушла из дома. Первое время она проповедовала на улицах, ее сдуру схватили, начали проверять – тут-то о ней и стало известно в Генштабе, а мимо такой возможности пройти было нельзя. Плоскорылов присутствовал на ее первом концерте в клубе богословского факультета. Дева Ира не блистала красотой, как и дева Жанна; у нее была худенькая подростковая фигурка, мелкие черты лица и бесцветные волосы, но все искупали огромные серые глаза и надтреснутый металлический голос – голос патриотического ребенка, истинной души варяжства. Она исполняла старые песни, которые почерпнула из приемника, из ночных ностальгических радиопередач, – «Огонек», «На солнечной поляночке», «Темную

ночь». Правду сказать, сам Плоскорылов не очень высоко ценил эти народные песнопения, сочиненные в окопах, – то ли дело «Война народная» с ее тевтонской поступью! – но в исполнении девы Иры они приобретали почти Достоевский надлом. Так могло бы петь варяжское дитя, умученное хазарами, испускающее последнюю слезинку перед заклятием; сложного музыкального сопровождения дева Ира не признавала – она лишь слегка пощипывала струны старенькой гитары. Любая другая музыка могла заглушить этот слабый жестяной голос, который походил бы на дребезжание дачной флюгарки, когда б не надрыв и не подспудная сила, таившаяся в нем. Таким голосом можно было выкрикнуть прощальную речь перед расстрелом, а можно и скомандовать «Пли!» – если расстреливали внутреннего врага. Жертвенно-палаческая оборачиваемость была особенно мистична, в ней выражалась главная идея варяжства; ребенок постиг ее интуитивно, ибо на богословском факультете не учился, а больше взять ее было неоткуда. Только голоса могли трансцендировать из ледяного мира абсолютных сущностей этот детский мученический надрыв в сочетании с приказом; ломкий альт девы Иры, записанный на три немедленно выпущенных диска, разлетелся по всей стране и стал обязательен для слушания в армии.

Попев, дева Ира входила в транс и начинала рассказывать: «Вижу... вижу...» Видела она то самое, что надо: черную бархатную тьму с колючими звездами, полюс абсолютной силы, суровые островерхие ельники на малиновом закате, пустынные неприступные горы с парящим над ними орлом, ополоумевших от восторга и страха дикарей, молящихся непостижимому каменному идолу – любимцу вымерших гигантов... Дева Ира жарила вслух прямо по Горбигеру, которого, к слову сказать, не читала: давным-давно, в эпоху мирового льда, земля населена была титанами, проводившими время в могучих единоборствах, – следами их игрищ лежат перед нами Альпы; титаны жонглировали горами, шутя разбрызгивали озера, шагая через щетинистую поросль лесов, но после геологической катастрофы могучие люди Севера вымерли в теплом климате, а великое их наследие было извращено и оболгано низкими людьми тепла, скучными слугителями пользы.

– Сегодня, господа офицеры, – произнес Плоскорылов с интонациями ласковой няньки, подводящей малыша к сюрпризу (например, к бочонку с рассолом, в котором отмокают отменные гибкие розги), – мы увенчаем нашу беседу истинным чудом. Об этом чуде все вы, конечно, слышаны, но не многие из вас, я уверен, видели его своими глазами. Сегодня для нас поет русское диво, юная муза войны, голос русского сопротивления – дева Ира!

Господа офицеры шумно встали и вытянулись. Ефросиния неслышно распахнула дверь и вошла, подталкивая перед собою бледную деву Иру на подгибающихся ногах.

Мамка была высокая, негибкая женщина неопределенного возраста, тяжелая, с серым лицом и скорбно сжатым ртом: идеал варяжской вдовы.левой рукой она держала за гриф детскую гитару. Ира перед очередным трансом потерянно блуждала глазами по стенам. Ефросиния подтолкнула ее к доске, Плоскорылов услужливо подвинул стул и отошел в угол, готовясь слушать божественные звуки. Ира несколько раз сонно провела по струнам, тряхнула головой и запела:

– Ми... и... мо берега крутого,
 Ми... мо... хат...
 В се... рой шинели рядового
 Ше-о-ол со-о-лдат...

Плоскорылов закрыл глаза. Ему представился бескрайний русский простор, серый прибрежный песок, серая река и вдоль всего этого идущий серый солдат, насекомое войны, бесконечно малая человеко-единица. Солдат несомненно шел умирать, его было необычно-

венно жалко, и утешиться можно только тем, что сейчас его наконец убьют – и он тотчас обретет гранитное бессмертие. Голос девы Иры окреп:

Ше-е-ол солдат, слуга Отчизны,
Ше-е-ол солдат во имя жизни,
Землю спасая,
Мир защищая,
Шел вперед солдат...

Она сделала паузу (офицеры не нарушили молчания ни единым бестактным хлопком) и вновь провела по струнам большим пальцем:

С берез... неслышим... невесом
Слетает желтый лист...
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет... гармонист...
Вздыхают, жалуясь, басы,
И словно... в забытьи...
Сидят и слушают... бойцы...
Товарищи мои!

Пока дева Ира детской лапкой с заусенчиками старательно зажимала басы, Плоскорылову представилась осенняя поляна в русском лесу и он сам, почему-то с баяном, хотя он сроду не умел играть ни на одном музыкальном инструменте. Сейчас он доиграет вальс «Осенний сон», и его бойцы уйдут с поляны, растворятся в запахе прели, в желтой листве, просто исчезнут, как и надлежит пропадать без вести истинному солдату: молча, безропотно, не обнаруживая себя даже криком «За Родину!». Они будут уходить, истаявать в желтом осеннем свете, а Плоскорылов все будет играть, играть... словно сама эта музыка, как «Прощальная симфония» Гайдна, тихо растворяет солдат в воздухе – с каждой нотой все меньше, меньше... и вот он доиграл, переведя их всех в состояние печального совершенства, и остался на поляне один. Ползут сумерки, и желтые листья на глазах теряют цвет; в сгущающейся серо-лиловой тьме одинокий капитан-иерей с уже ненужным баяном сидит среди осеннего русского леса – ему нельзя исчезать, они с баяном теперь последняя память о доблестно погибшем подразделении; здесь Плоскорылову стало себя так жалко, что он зажмурился, и по круглым его щекам скатились две слезы. Офицеры, глядя на него, осторожно крутили пальцами у виска. Пение девы Иры производило на них унылое, тошнотворное впечатление. Добро бы Ира возбуждала желание – но при взгляде на нее хотелось одного: немедленно накормить ее и уложить спать.

Между тем обязательный репертуар не был еще исчерпан: дева Ира запела теперь гимн собственного сочинения. По сочетанию хрупкости с воинственностью песня «Звезды Севера» не имела себе равных.

То Север, сугробами светел,
С царицей на каменном троне.
Там сосны, и волны, и ветер,
Там блеск самоцветов в короне.
О, дети слащавого Юга,
Где слишком все ярко и пестро!
В преддверьи полярного круга

Огнем колдовским светят звезды!
Нет сказок чудесней на свете,
Чем Север расскажет, я верю,
И нет ничего на планете
Прекрасней, чем Гиперборея!

Плоскорылов вообразил Гиперборею, ее суровые пейзажи и торжество вертикали – сосны, скалы, человек с филином. Дрожь священного восторга прошла по его спине и дыбом подняла волосы. Ах, ведь и дыба – то же торжество вертикали; не мучают, но возносят... Он вытянулся и хотел уже отдать честь, но понял, что сейчас вслед за ним поднимутся все офицеры, шелкнут каблуками и испортят песню; нет, пусть допоет...

– Товарищи! – вдруг воскликнула дева Ира, вскочив со стула и невидящими глазами уставившись в дальний угол Русской Комнаты. – Товарищи! Все как один пойдем и умрем! Умрем за то, что свято! Умрем за то, что чисто! Умрем все! Сталь... сталь входит в тело... блаженство...

И рухнула на пол в трансе.

Глава третья

1

Майор Смерша Евдокимов уже второй час допрашивал рядового Воронова.

Воронов был худ, черноволос и страшно нервен. Может быть, именно по этой причине выбор Евдокимова и пал на него. Бессмысленно было допрашивать тупую деревенщину, изгаляться над крестьянами с их однообразными ответами и полным неумением выкручиваться. Воронов, напротив, извивался ужом. Евдокимов не знал за ним никакой вины и с интересом наблюдал за тем, какую вину придумает сам Воронов. Это было самым увлекательным в работе с интеллигенцией.

Воронов в свою очередь знал за собой слишком много провинностей и сейчас лихорадочно выбирал, в какой из них сознаться раньше. Он не мог угадать, какая покажется Евдокимову более тяжелой. В первые десять минут допроса Евдокимов был добр, но Воронов уже примерно представлял, как тот вдруг переключится с этой доброй тактики на яростную, – как-никак это был уже третий допрос. Однако угадать, когда это произойдет, не смог бы и сам майор, не то что пациент.

Основой следовательской тактики Евдокимова как истинного смершевца было приведение жертвы к осознанию своей греховности. Мало расстрелять, расстрелять всегда успеется: следовало растоптать, внушить мысль о том, что кара заслужена. Воронову предстояло всех предать и оговорить, отречься от матери, заложить командира – и только после того отправиться на казнь с твердым убеждением, что такие, как он, недостойны жизни. Если угодно, это было даже и гуманно: непростительная жестокость – убивать человека, уверенного в своей правоте. Прежде чем ставить кого-либо к стенке, следует сделать так, чтобы жертва сама себя приговорила – и по этой части у майора Евдокимова конкурентов не было, по крайней мере в штабе тридцатой пехотной.

Он был из заслуженных смершевцев, о которых слагались легенды: дзержинец, наследник подлинного чекизма, способный выбить из бойца любое признание, за три дня превратить здорового малого в трясущуюся, кающуюся мразь – и все это почти без физического воздействия. Евдокимов любил утонченность.

Он заметил Воронова давно, с тех самых пор, как привезли пополнение. Две недели ходил вокруг да около, выживая. Приставил к нему осведомителя – слушать разговоры. Воронов был то, что надо: скучал по дому, жаловался на портянки, один раз даже сказал, что вообще не понимает, почему и с кем они воюют... Любому другому это сошло бы с рук, но Евдокимов вцепился в улику не шутя. Это был шанс. Вдобавок и Плоскорылов заказал расстрел перед строем – боевой дух вследствие дождей совсем разложился, – Евдокимов взял Воронова тепленьким, вызвав якобы для вручения письма из дома. Евдокимов понимал, что это значит для человека вроде Воронова. Он подробно изучил дело новобранца и знал, что тот возвращен матерью-одиночкой, отца не видел, в мужественных играх не участвовал и вообще, несмотря на приличную физподготовку, был в душе суцая красная девица. Он отправил матери уже два письма. Евдокимов на всякий случай перехватил оба. В письмах не было ничего особенного, кроме телячьих нежностей и уверений, что Воронов устроился отлично, так что беспокоиться матери не следует.

Россия вообще была интересная страна, потому что главная ее история происходила внутри, а не вовне, и главные войны опять-таки были внутренними. Главные конфликты в солдатской жизни разворачивались вовсе не с вероятным или невероятным противником, а с сержантом или иным командиром (просто сержант был ближе, почти родня). Считалось, что сержант и вся стоящая над ним пирамида, включая обязательного смершевца, вырабатывают таким образом из солдата настоящего мужчину, хотя настоящего мужчину они как раз выдавливали из него по капле, как раба, а вместо того вещества, из которого делаются мужчины, вливали в его жилы и кости тухлую, рыхлую, дряхлую субстанцию, парализующую всякое осмысленное сопротивление. Обработанный таким образом солдат способен был воевать только истинно варяжским способом – то есть ничего вокруг не сознавая и боясь своих больше, чем чужих.

Все это шло от того, что ни командиры, ни смершевцы никогда не были солдатами и не могли ими стать, будучи рождены для иного. Любой офицер, заставь его кто-нибудь проделывать то, что требовалось от солдата, обнаружил бы полную профнепригодность, – как и любой менеджер в варяжском бизнесе, поставь его прихотливая судьба на место того, кем ему выпало управлять, оказался бы не способен ни на что, кроме приготовления и распития кофий. Варяжское начальство ни в чем не могло подать примера, ибо не владело ни одним из руководимых ремесел, с одинаковой легкостью руля то нефтянкой, то мобильным бизнесом, то ротой, то госпиталем; варяжский прораб не умел строить домов, варяжский генерал не умел строить оборону, варяжский дирижер не умел строить скрипку – все они умели строить только подчиненных, предпочтительно по ранжиру. Варяжскими начальниками рождались – и годились на эту роль только те, кто не был способен ни к какой деятельности, но виртуозно умел топтать способных. Евдокимов был прирожденный смершевец, элита элит: он вообще ничего не умел. И он был некрасивый. Он был словно топором рубленный. Он был плечистый, нечистый. Блевотное он был существо, прямо говоря. Мало кто был хуже Евдокимова. Варяги любили Евдокимова, ценили Евдокимова.

Когда Воронов явился в Смерш за письмом из дома, он не заподозрил никакого подвоха – мало ли, может, во время помпы все письма должны приходиться только через Смерш. Но Евдокимов уже знал, как будет его колоть. В Смерше, еще в Академии Дзержинского, всем внушали: невиноватых нет. Задача исключительно в том, чтобы найти вину. Народ прав, говоря, что у нас просто так не сажают. Настоящий военный психолог должен был тщательно разобраться в прошлом и настоящем объекта, чтобы просто отметить случайные и побочные вины, сосредоточившись на главной. Воронов был настолько удобен, что у Евдокимова через два дня оказался в руках букет расстрельных статей.

– Рядовой Воронов по вашему приказанию прибыл! – четко рапортовала жертва, еще не подозревая о своем новом статусе.

– Так-так, – медлительно сказал Евдокимов. – Так-так... (Это тоже была азбука смершевца – тянуть время, чтобы жертва пометалась.) – Ну что же... ммм... Воронов, да? Значит, письмеца ждете?

– Так точно.

– От кого же, любопытно узнать?

– От матери, товарищ майор.

– Мать – дело хорошее. Один у матери?

– Сестра еще есть.

– А почему ждете письма? Адрес сообщили уже?

– Так точно.

– Ага. Ну, ладно. А почему вы думаете, что мать вам сразу напишет?

Воронов растерялся.

– Потому... потому что волнуется, товарищ майор.

– Волнуется? А почему она волнуется? Вы что, сообщили ей в письме что-то такое, от чего она может разволноваться?

– Никак нет, товарищ майор, – густо покраснел Воронов. – Просто... ну... я подумал, что она будет волноваться. Война же.

– А вы сообщили матери, что находитесь в районе боевых действий? – Голос Евдокимова начал наливаться свинцом. Попадая на фронт, солдаты не имели права об этом сообщать. Такова была особенно хитрая, иезуитская установка I с и штаба: родители знали только номер части. Любая информация в письме, из которой можно было почерпнуть намек на истинное местонахождение солдата, расценивалась как измена и немедленно каралась.

– Никак нет, товарищ майор. Просто написал, что прибыли в часть.

– Так что ж она тогда волнуется? Нервная, что ли? Может быть, больная какая-то?

– Никак нет, товарищ майор.

– Я сам знаю, что я товарищ майор. Что вы мне все время – товарищ майор, товарищ майор? Вы, может быть, думаете, что в Смерше дураки сидят?

– Никак нет, това... Никак нет, я так не думаю.

– А. Интересно. А как думаете?

– Я про Смерш никак не думаю, това...

– «Товарищ майор», надо добавлять. Вы в армии находитесь или где? Вы, может быть, забыли основы субординации?

– Никак нет, товарищ майор.

– Я сам знаю, что я товарищ майор! – заорал Евдокимов. Воронов дошел до кондиции. Момент для перемены регистра был выбран безошибочно. – Значит, сначала волнуем мать, доводим ее, можно сказать, до нервного стресса, – а потом вот так запросто являемся в Смерш за письмецом? Я правильно вас понял, товарищ рядовой? – Это тоже был любимый прием: перечислить с грозной интонацией несколько невинных фактов, из которых сейчас будет сделан неожиданный и убийственный вывод.

– Я не являюсь, товарищ майор... то есть самовольно не являюсь... я явился по вашему вызову...

– Я знаю, что по вызову! – громко прервал Евдокимов. – Не в маразме еще, слава богу! Или вы полагаете, что у нас в Смерше служат маразматика? Отвечать!

– Никак нет, товарищ майор!

– Что «никак нет»?

– Никак не маразматика служат в Смерше, товарищ майор.

– А вы откуда можете знать, кто служит в Смерше? Вы, может быть, уже имели вызовы? Приводы? (В лучших варяжских традициях Евдокимов предпочитал ставить дактилическое ударение, хотя слова такого не знал: «приводы», «возбужден», «осужден».)

Так, мысленно поворачивая перед собою Воронова, как деревянный шар, ища на нем зацепку, заусеницу, шероховатость, майор Евдокимов к концу второго дня был сполна вознагражден. Воронов впал в истерику. Биясь в майорских сетях, как обреченная муха, мечтающая хоть о чаше передышки (Евдокимову уже два раза подали чай, Воронов не получил даже разрешения пойти на двор), рядовой был готов каяться в чем угодно. Евдокимов припомнил ему разговор с однополчанином о тяготах и лишениях воинской службы, сетования на то, что устав трудно запомнить из-за бессмысленных повторений, и пригрозил очной ставкой с рядовым Кружкиным, донесшим, что Воронов не обнаруживал смысла в войне.

– Значит, не видим смысла в войне? – спросил он хмуро.

– Никак нет, товарищ майор.

– Не видим, значит?

– Никак нет, видим, – повторял Воронов.

– Ты издеваться надо мной, засранец?! – вскочил Евдокимов. – Издеваться над боевым офицером?! (Внутри у Евдокимова все пело. Он даже забыл, что ни разу не был в бою: был приказ – смершевцев в бой не посылать, ценные кадры!). У меня тут такие сидели и кололись, что не тебе чета, ты издеваться надо мной?! Никак нет видим или никак нет не видим?

Перепуганный Воронов некоторое время соображал, но мозги ему еще не отказали.

– Никак нет, видим смысл, товарищ майор!

– Кто видит?

– Мы видим!

Это была как раз необходимая Евдокимову проговорка.

– Запротоколировал? – спросил Евдокимов у высокого бойца Бабуры, своего секретаря, вялого малого несколько педерастического вида.

– Так точно, – небрежно отвечал Бабура. Он был тут свой парень и давно понял, что Воронова живым не выпустят.

– Так кто это «мы»? – нежно, вкрадчиво обернулся к Воронову Евдокимов.

– Мы все, товарищ майор. Все видим смысл.

– А ты за прочих не расписывайся! Что, уже и мысли читаешь? Признался бы сразу: мы есть тайная организация, действующая в войсках противника для приведения их к боеготовности!

– Никак нет, товарищ майор, – вскочил Воронов, – Никакой тайной организации!

– Проговорился, проговорился, – глядя в стол, словно жалуясь ему на чужое вероломство, заговорил следователь. – Предал мать. Всех предал. Себя предал. Но себя – что? Кто ты есть? Ты никто, понял? Но мать! Как ты смел предать свою мать!

– Никак нет, я не предавал матери, – сказал Воронов, собрав остатки мужества.

– Да? А Родина тебе уже не мать? Запротоколировал, Бабура?

– Тык-точно, – небрежней прежнего рапортовал Бабура.

– Не считать Родину матерью! Отречься от Родины! Где вы выросли, Воронов? – Евдокимов перешел на вы, словно рядовой только что бесповоротно пересек тайную грань, отделявшую пусть провинившегося, но гражданина Родины от изменника, недостойного звания человека.

– В Москве, товарищ майор.

– Что есть Москва? По уставу! – завопил майор.

– Москва... Москва есть столица Русской земли, стольно-престольный град, исторический центр ее объединения вокруг себя, мать русских городов и национально очищенный от всякого мусора краснобелокаменный город-герой, неоднократно отстоявший свою честь от иноплеменных захватчиков! – пролепетал Воронов формулировку гласа второго Устава российской истории и местоблюстительства.

– Ну вот, – удовлетворенно проговорил Евдокимов, и в истерзанной душе Воронова проснулась надежда. – Сами же говорите: мать русских городов. И от этой матери вы отреклись, создав боевую организацию и обсуждая в ее рядах, осмысленную или бессмысленную войну ведет ваша Родина. Хотя сама такая постановка вопроса, рядовой Воронов, есть уже государственная измена! Вы понимаете теперь, что с вами будет? Вы понимаете, что будет с вашей семьей? Купить жизнь своей семье, – отчеканил майор, – вы можете только полной сдачей всего личного состава вашей организации, поименно, тут! Мы слушаем вас, рядовой Воронов.

Рядовой Воронов молчал. Тогда Евдокимов лениво встал, поднял его за грудки так, что отлетели пуговицы гимнастерки и несколько раз ощутило, хоть и не в полную силу, ударил в живот.

– Я так долго могу, – предупредил он.

Воронов молчал весь следующий день и всю ночь, пока над ним трудились еще трое подручных Евдокимова, но когда Евдокимов показал ему представление на арест всех его родственников, направляемое по месту жительства в связи с разлагающей пропагандой в военное время (представление было отпечатано на специальном бланке, такой метод воздействия официально разрешался Генштабом), Воронов признался в существовании тайной организации и назвал весь списочный состав своей роты. Он помнил не всех и поэтому попросил список.

– Все?! – спросил Евдокимов, не ожидавший такой удачи.

– Так точно, все.

– Вы издеваться надо мной?! – снова заорал майор. И еще немного побил Воронова, который и так уже не очень крепко держался на стуле; однако Бабура успел запротоколировать признание, и расстреливать теперь можно было любого.

– Встать! – приказал Евдокимов. – Что ж ты, гадина... дрисня... Своих сдал, да? Всех как есть? Всю роту? А ведь у всех тоже матери!

Воронов молчал.

– Ты понимаешь, что из-за тебя все под трибунал пойдут?! Сейчас?! Сегодня?!

Воронов не отвечал. Он надеялся, что его абсурдное показание вызовет новый приступ майорского гнева, но по крайней мере в те полчаса, что он будет диктовать список, его не будут бить и, возможно, даже дадут попить. Он знал, что во время допросов тридцать седьмого некоторые тоже называли всех, кого помнили, думая, что явная абсурдность показаний скоро приведет к ступору карательной машины, неспособной переварить столько народу; но машина была способна переварить этот народ несколько раз, с детьми, чадами и домочадцами, а хватать всех ей было вовсе не обязательно. Она уже умела растягивать удовольствие. Но еще лучше она умела убеждать пищу, какая эта пища дрянь. Мы бы небось не сломились, если бы вы хоть раз попытались напасть на нас в отместку... но где вам, скотам!..

– Унести это дерьмо, – брезгливо сказал Евдокимов.

Бабура и личный денщик Евдокимова, весельчак и непревзойденный массажист Старостин, чесавший пятки так, что с этим не мог сравниться никакой минет, поволокли Воронова в сарай.

– Завтра и употребим голубчика, – сказал себе Евдокимов. Оставалось главное, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Он достал из скоросшивателя письмо рядового Воронова и перечел его с начала до конца. «Дорогая мамочка, маленькая моя! Пожалуйста, не волнуйся. Здесь все ко мне очень добры, я все время занят, боевых действий нет и не предвидится, и если бы не тоска по всем вам, мои дорогие, было бы совсем хорошо. Пожалуйста, не напрягайся слишком насчет посылок, у меня есть все, что надо, и даже с избытком...»

По телу смершевца пробежала приятная судорога удовлетворения – не эротического, конечно, но что-то сродни пароксизму удовольствия, который испытывают крупные земноводные в момент насыщения. Интеллектуальная отрыжка, если угодно, – твердое сознание исполненного долга и легкая приятность полного, безостаточного поглощения. Жертва лежала в сарае. Сарай исполнял роль желудка. Майор Евдокимов избил сто тридцать первого внутреннего врага.

2

Плоскорылов занимался. Надо было подготовиться к завтрашней лекции – вводной по теме «Нордический путь».

Он сидел за чисто выскобленным столом в избе молодой солдатки Марфы. Курсе на втором-третьем, во времена молодых заблуждений, о которых он вспоминал теперь со снисходительной улыбкой, он непременно усмотрел бы в таком поселении евангельский подтекст: его умилило бы, что Марфа готовит ему с особенным тщанием, подает на стол расторопно и смущенно, с робкой улыбкой, а лекции и советы по куроводству слушает внимательно, но явно никто не понимает. Откуда, в самом деле, простой крестьянке понять духовное куроводство! Теперь же, отлично зная истинную природу христианских легенд, Плоскорылов видел всю хазарщину этой веры, всю ее дешевизну и безвкукусность с точки зрения великого холода; однако на молодые умы и горячие сердца такие побрякушки действовали неотразимо. Что же делать, если в оны времена мудрому варягу Ипадимиру пришлось в целях мимикрии среди враждебного окружения принять ЖДовскую веру! Нынешнему варягу нужно было созреть, чтобы сбросить ЖДовский бред, к которому, кстати, сами ЖДы относились с нескрываемым пренебрежением. Чтобы их победить, нам надо немного стать ими и хорошенько у них поучиться – и по части пренебрежения к собственной новозаветной придумке, и по части поразительной национальной монолитности, и по части воспитания детей: невротизация потомства, которое с первого класса учат быть лучше всех и ненавидеть враждебное конкурентное окружение, была отличной идеей. Плоскорылов и сам рос невротиком, с детства окруженным тысячей страхов и таинственных предчувствий, и только тому был обязан быстрой карьерой. К христианству Плоскорылов относился теперь, как истинный хазар: внешне соблюдал пиетет, внутренне глубоко презирал, и потому уже не умилялся Марфе и не говорил ей с отеческой улыбочкой: «Марфа, Марфа, ты избрала худшую часть!» – как сказал бы лет семь назад. Нынешний Плоскорылов вообще не метал бисера перед коренным населением.

«Нордический путь» был краеугольным камнем правильного офицерского мировоззрения. С его помощью обосновывались тяготы и лишения, и в первую очередь Норд. Вначале следовало объяснить, почему в армии принято говорить не «Север», а именно «Норд». Это было слово из родного санскрита, с далекой прародины. Пошное и вдобавок ругательное «Север», почерпнутое у коренного населения, годилось только для простонародья, но не для воинской аристократии. «Нар» – древний, славный санскритский корень. Он обозначает воду, но не абы какую, а стремительно текущую. Нара – санскритская река, нары – санскритская кровать (обозначение, восходящее, вероятно, ко временам, когда арии спали в лодках во время долгих морских странствий), Нарцисс – юноша, залюбовавшийся своим отражением в воде; истинный воин обязан быть нарциссом, любить себя до дрожи, до сладкого возбуждения. Плоскорылов был истинный нарцисс, не упускающий случая полюбоваться собою в зеркале, он даже вел тайную тетрадь своих успехов – кто и что ему сказал, как и когда похвалил; плохого Плоскорылов не фиксировал – для чего запоминать ерунду? Нар, нор –

гордое санскритское слово, наследие арийцев, выше всего ставящих Норд, норв, северную прародину Норильск, строгую воинскую норму и суровую минорную музыку.

Русские, или русы, – великий северный народ, согнанный с места похолоданием; но похолодание было не случайно – у природы (упоминать чуждого христианского Господа в арийских лекциях Плоскорылов избегал) была особая цель. Истинной причиной оледенения было то, что срединные народы, живущие в глубине материка, нуждались в просвещении. Это просвещение и принесли им арии – русоволосые, высокие воины, проводившие дни в овладении боевыми искусствами и магическими ритуалами. Под руководством вождя Яра, о котором сообщала Велесова книга, русы вышли из Гипербореи и устремились на плодородные земли, где жили дикие племена. Племена уже умели обрабатывать эти земли, но не знали зачем, то есть для кого.

«Дальняя Тула, – писал Плоскорылов круглым почерком, высунув язык и любуясь своей пухлой рукой, пухлыми буквами, пухлой тетрадь, – была вотчиной дальних северных оружейников, и, придя в новые благодатные края, они тотчас учредили здесь свою Тулу. Город прославился оружием и славится им до сих пор. Глубоко не случайно и отчество Соловья-Разбойника – Рахманович, а самые рахманы, как утверждают былины, были мудрецами и жили на краю земли. Не вызывает сомнения, что это брахманы – жрецы высшей расы, жившей на крайнем севере и исповедовавшей индуизм. Впоследствии они ушли с севера и основали вначале славянскую, а затем древнегреческую и индийскую цивилизации...»

Гуров, как всегда, возник словно ниоткуда – не предупредив, не давши Плоскорылову шанса как следует «прорубиться», то есть, в переводе с грязного солдатского сленга, выказывать себя с наилучшей стороны. Плоскорылов видел особенный тон в том, чтобы при встрече с личным другом – у него были все основания видеть в Гурове старшего брата, так явно выделял его московский инспектор, – соблюсти максимум воинского этикета; ловя в глазах Гурова признаки начальственного одобрения и даже любования достойным учеником, – а кое в чем Плоскорылов уже и превосходил инспектора, хотя даже наедине с собою не всегда признавался, что понимает это, – внешне он оставался скромнейшим войсковым политруком, знатоком солдатских нужд, тихим работником фронта, привыкшим к ежеминутному риску. Любо ему было аккуратно доложить, откозырять, застенчиво подать руку для поцелуя (Гуров был все-таки лицо светское, при всех своих семи ступенях, а потому обязан был приветствовать капитан-иерея по всей форме), отрапортовать о случившихся происшествиях и только потом по-братски, по-варяжски троекратно расцеловаться с другом. Гуров, однако, часто пренебрегал ритуалом – вероятно, на седьмой ступени он уже не так нуждался в повседневной интеллектуальной дисциплине, а может, ритуалы там были настолько сложны, что не Плоскорылову было их понять. На пятой можно было то, чего нельзя на первой, на четвертой рекомендовалось то, что исключалось на третьей, и все это сочетание взаимоисключающих правил, когда одному можно одно, а другому – принципиально другое, Плоскорылову представлялось главной доблестью варяжства, той самой цветущей сложностью, о которой писал он когда-то первое курсовое сочинение, отмеченное бесплатной поездкой в Аркаим.

Гуров всегда входил неслышно, не стукнув дверью, не скрипя половицами, и отлично ориентировался в жилищах коренного населения, словно сам не один год прожил в избе. Плоскорылов обернулся, вскочил, оправил рясу и, приняв стойку «Смиренно», приступил к рапорту, но Гуров, как всегда, не дал ему блеснуть:

– Вольно, вольно, иерей. Здоров?

Плоскорылов, не зная, куда девать повлажневшие от радости глаза, сунул ему руку, к которой Гуров быстро наклонился, и радостно полез целоваться.

– Рад, – повторял он со слезами в голосе, – рад и тронут. Спасибо. Не поленился, приехал. На передний край. Очень, очень рад.

От него не укрылось, что Гуров морщится скорее по обязанности, а на самом деле очень доволен, видя младшего друга в бодрых трудах.

– Как служба? – спросил инспектор, усаживаясь за стол, словно век прожил у Марфы. С коренным населением у него были особые отношения – если к Плоскорылову крестьяне относились уважительно и робко, никогда не признавая его своим, то Гурова они любили, как, должно быть, рабочие любили Ленина: признавая его врожденное право возглавлять и владеть. Так и теперь – Марфа вошла, увидела Гурова, в пояс поклонилась и принялась собирать на стол. Плоскорылов немедленно спрятал конспекты.

– Не надо, не надо, сыт. Что, Марфа, не забижает иерей?

– Как можно, – потупившись, сказала Марфа.

– От мужика твоего есть вести?

– Писал, – кивнула она. – Вроде живой.

– Добро. Эх, устал. Кости ломит. Шел баран по крутым горам, вырвал травку, положил под лавку. Кто ее найдет, тот и вон пойдет. А, Марфушка?

Марфа поклонилась и вышла. Плоскорылова всегда удивляло пристрастие инспектора к варварским считалкам и припевкам, избличавшим всю плоскостность мышления коренного народа, – вероятно, на седьмой ступени предписывалось заигрывать с крестьянами и даже жалеть их с недостижимой высоты; сам Плоскорылов свято соблюдал иерейские заповеди о дистанции, несмешании и снисхождении без послабления.

– Слышь-ко, иерей, – с великолепной воинской небрежностью сказал Гуров (седьмая ступень могла позволять эту небрежность, тогда как на шестой требовались усердие, прилежание и то, что на солдатском варварском языке называлось «зубцовостью»), – смершевце-то наш все бдит?

– Да, знаешь, я доволен. Он хотя и простой малый, но чудесный специалист. Одного разложенца так выявил, что любо. Оказался хазарский агент, и какой! Ничем себя, мразь, не обнаруживал. Но пораженец классический. Жаловался матери, распускал пацифистские сопли. Завтра будем кончать.

– Пораженец? – промурлыкал Гуров. Он был теперь похож на большого довольного кота – полный, уютный, но Плоскорылов знал, какое стальное у него тело и как мгновенно, пружинно он подбирается, заслышав внятный ему одному зов боевой трубы. – Пор-раженец – это хор-рошо...

– Пор-рождение ехидны... Когда он его выщепил?

– Дня четыре назад. Долго колол, но ты же его знаешь – ни почему не отступится...

– Хоть без рукоприкладства?

– Зачем, там спецы. Так обработали – в ногах у них валялся, сапоги лизал.

В варяжских кругах особенно ценилось выражение «лизать сапоги», и Плоскорылов, зная любовь Гурова к традиционной варяжской фразеологии, не упускал случая упомянуть дорогие архетипы.

– Хор-рошо. Я его сам посмотрю. Ты Евдокимова не думаешь на посвящение представлять?

– Я бы его сразу на пятую представил, – доверительно сказал Плоскорылов, чуть понизив голос. Было неизъяснимым наслаждением на равных обсуждать с посвященным представления, награды и прочие карьерные подвижки. – Но ты же знаешь, он без высшего...

– Ну и зачем смершевцу высшее? Ты думаешь, у самого, – Гуров возвел глаза, – академия за плечами? Все сам, своим горбом. Представляй, представляй. По нему пятая ступень давно плачет. Сам-то про инициацию думаешь?

Плоскорылов смутился. Он проклинал свою способность мгновенно, девически-нежно краснеть.

– Наш долг, инспектор, служить нордическому Отечеству а прочее в руках Одина...

– Ну ладно, перед своими-то, – ласково осадил его Гурон. – Ты еще каблуками шелкни. Каблуками пусть Пауков шелкает, а ты, иерей, готовься. Я ведь не просто так езжу, сечешь?

Плоскорылов поднял на инспектора глаза, полные собачьего обожания.

– Да, да. Ты парень не из простых, я за тобой не первый день слежу. Такие знаешь теперь как ценятся? Сам видишь, настоящий варяжский дух в войсках – редкость почти неслыханная. А у тебя в штабе все уставники один к одному. Значит, внедряешь. Ты думаешь, тебе вечно в Баскакове болтаться? Подожди, еще преподавать в академию пойдешь. Без войскового опыта ничто не делается. Сам займись. Не красней, не красней, нечего. Мне тебя повидать – праздник. Инициировать тебя будем в августе, лучший месяц для таких дел. Знаешь, кто посвятит-то?

– Не смею надеяться, – улыбнулся Плоскорылов. Он не допускал и мысли, что Гуров доверит инициацию кому-то другому.

– Корнеев, – сообщил инспектор, заговорщицки подмигнув.

Такого шока Плоскорылов не испытывал давно. Корнеев был вечный дневальный – нерасторопный, огромный солдат с пудовыми кулачищами, тупой, как сибирский валенок, и категорически неспособный к воинской науке.

– Рядовой? – переспросил иерей.

– А какой же? – отечески улыбнулся Гуров. – Ты думаешь, все так просто? Нет, милый, седьмая ступень должна быть везде. И среди рядового состава есть наши... а как мы иначе узнаем о фактах недозволенного обращения? Кто за офицером присмотрит? Ты много не разговаривай об этом, но к Корнееву присмотришь. Он у нас такой... инициатор. Через него все лучшие прошли.

– И ты? – тупо спросил Плоскорылов.

– Почему я? – улыбнулся Гуров. – Меня... ну, узнаешь когда-нибудь. У меня вообще все не как у людей. Готовься, капитан. Числа восьмого и займемся. И вот еще что... Я, собственно, давно тебя спросить хочу... Тут девочки новой, из туземок, не появлялось?

Ни в лице, ни в голосе Гурова ничего не изменилось, но Плоскорылов привычным чутьем сразу угадал, что инспектор заговорил серьезно и сквозь кажущуюся небрежность проступила наконец внутренняя сталь.

– Никого нового не замечал. А что?

– Ты присматривай, присматривай, – не вдаваясь в объяснения, как и подобало варяжскому командиру, продолжал Гуров. – Она может к вам прийти... причем не одна, улавливаешь? Она прибудет с таким мужчинкой лет сорока пяти, я тебе фотокарточку оставлю. – Он полез в нагрудный карман френча и вытащил фото: представительный, с проседью, типичный чиновник уставился на Плоскорылова с тем тайным сознанием превосходства и вседозволенности, которое пробивалось у работников федерального уровня сквозь любой европейский лоск. – Ее фотоморды у нас покуда нет, но уж я расстараясь. Если они куда и направятся, то к тебе. Либо в Дегунино, но уж там я ее лично перехвачу. Смотри, иерей, это очень серьезно. Если ты ее поймаеть – считай, полковничья звезда тебе обеспечена.

Плоскорылов второй раз за полчаса вспотел от неожиданности.

– Шахидка? – понимающе спросил он. – Предательство?

– Вроде шахидки, – кивнул Гуров, но Плоскорылов, отлично его изучивший, понял: все гораздо, гораздо серьезнее. – А предательство такое, что никакому Власову не снилось. Они, конечно, могут и поврозь, – но подозреваю, что явятся парой. Так уж ты, иерей, не пропусти. Я на Евдокимова надеюсь, но тут особая интуиция потребна. Не проморгай.

– Но, может, ты хоть объяснишь немного, в чем дело, чего от них ждать...

– А ничего не жди. Как увидишь новую туземку, так сейчас же мне и докладывай. А ее под замок, всасываешь? Под хороший замок. Она может быть беременная, а может, и не беременная. Если беременная – значит, сразу лично мне на мобилу скидывай. А как этого

увидишь – так разрешаю чпокнуть его на месте, своими руками. Ты человека когда-нибудь убивал?

Гуров привстал и наклонился близко-близко к лицу капитан-иерея. Плоскорылов взглянул в его птичьи серые глаза за круглыми стальными очками и окончательно смутился.

– Вижу, – догадался Гуров; он вообще обо всем догадывался мгновенно. – Ну, ничего. Надо же начинать когда-то. Это хорошее будет начало, иерей. Полковнику без крови никак. В общем, много не болтай – кто знает, какие у них тут союзники... Я тебя предупредил.

– Ну конечно, – горячо сказал Плоскорылов.

– Не «конечно», а по форме! – вдруг прикрикнул Гуров. Плоскорылов вскочил, оправил рясу и после секундного позорного промедления взметнул руку:

– Служу!

– Да вольно, дурашка, – рассмеялся инспектор. Плоскорылов никогда не мог понять, серьезен он или только проверяет его. – Молодца. Любуюсь, сынок. Настоящий варяг... воинская косточка... – Он отвернулся, словно стыдился проявления отеческих чувств. Плоскорылов так любил его в этот момент, что, не колеблясь, послал бы на смерть.

– Помолимся, инспектор, – предложил он от избытка чувств. Совместная молитва была лучшим, что он мог сейчас предложить гостю.

– Думаешь? – поднял глаза Гуров. – Прямо сейчас? Ну пошли.

3

Храм Плоскорылов оборудовал при штабе, – крестьяне построили его по чертежу дня за три. Пауков удивительно умел распоряжаться массами. Храм получился аккуратный, истинно воинский, с арктической устремленностью вверх, с чисто декоративным, несерьезным крестом и без всякой уродливой луковицы, этой неотъемлемой принадлежности православия. Плоскорылов жаждал увидеть на храме древний, любимый ведический знак и даже укрепил на концах креста маленькие, осторожные намеки на него. Собственно, стесняться было нечего, крестьяне не возразили бы, даже укрепи он на храме звезду, и такие прецеденты бывали, весь сталинский стиль тому порукой, но полностью раскрываться пока не следовало. Плоскорылов, однако, настоял, чтобы рядом оборудовали подсобку, которую он лично запирает на замок; туда никто, кроме него, не мог проникнуть. Там покоилась атрибутика арийского, нордического богослужения: без этого Плоскорылов давно бы сошел с ума среди непрерывных баскаковских дождей, тупости коренного населения и однообразия пресной крестьянской пищи. Пройдя третью ступень, неустанно и восторженно изучая историю Ариев и неразрывно связанное с нею арианство, он не допускал и мысли о молитве пошлому, растлительному хазарскому божеству. Страдальческая фигура на кресте оскорбляла его душу, всецело посвященную солнценосному учению. В под-юбке хранился ведический знак, своеручно вырезанный Плоскорыловым в обстановке строгой секретности из куска тонкой жести, да двенадцать изображений варяжских божеств – почти весь пантеон, кроме Велеса, которого сожрали ненасытные баскаковские мыши, а набить нового было пока не из чего; да еще череп, который Плоскорылов всегда носил с собой для напоминания о главном; да платок, омоченный в хазарской крови (драгоценная реликвия, вручаемая на четвертом курсе); и неприменный льдистый кристалл с острыми гранями – образ полюса Севера, с надписью «Привет из Арктики!» для камуфляжа: такие сувениры имперская промышленность в избытке производила в шестидесятые, но вынуждена была скрывать «ориентацию на север» и маскировать ее дурацкой романтикой освоения новых территорий.

Гуров разлапистой, совсем не военной походкой шел к храму. Снова припустил мелкий дождичек, холодало, и Плоскорылов поеживался после теплой избы.

– Часто служишь? – не оборачиваясь, спросил инспектор.

– Стараюсь не чаще трех раз в неделю, – виновато признался иерей. – Ну а где мне силу брать, сам скажи?

– Силу нигде брать не надо, сила должна быть внутри.

– Она и есть внутри! – ругательски ругая себя за неправильный ответ (опять расслабился!), немедленно исправился капитан. – Но пойми, тут же нет ни книг, ни общества! Я скоро шерстью зарасту!

– А для того и глушь! – наставительно произнес Гуров. – Для чего подвижник уходит в затвор? Почему хазарство переняло эту ведическую практику? В душе своей обретишь неиссякаемый источник! Ты думал, ты просто так на фронте гниешь? Ты закаляешься для главного служения!

Плоскорылов сам еженедельно вдалбливал все это офицерам, но когда этим банальностям принимался учить Гуров – ощущал некоторую неловкость.

– Я знаю, – кивнул он. – Но на практике...

– На практике устав читай! – прикрикнул инспектор. – Ты должен быть как алмаз, иерей! Понял? Как алмаз! Я в тебе, тебе одном вижу смену! А спроси тебя обязанности дневального по роте – ты поплывешь, как Вайсберг в океане! Что, нет?

– Ты шутишь, что ли? – обиделся Плоскорылов. – Я в двенадцать лет это знал! У меня с шестого класса строевой устав под подушкой... я карту Курской битвы рисовал, первый приз за реферат по району!

– Ты мне не первый приз за реферат, – холодно сказал Гуров, и Плоскорылов опять не знал, шутит он или всерьез, – ты мне обязанности дневального, и стоять смиренно!

– Дневальный есть военный солдат, – бойко начал Плоскорылов, – которого первейшая обязанность есть надзирать, следить, досматривать и докладывать, а также поддержание порядка в расположении роты неусыпно. Дневальный есть принадлежность тумбочки, какая есть принадлежность входа в расположение. Дневального долг есть натирать краники, стоять смиренно в ожидании кто есть любезный гость, а при появлении любезный гость производить отдание чести и три выстрела: выстрел известительный, выстрел предупредительный и выстрел контрольный, если любезный гость окажется вероятный противник. Когда дневальный заступать, то наряд принимать...

– Вот и врешь, – спокойно сказал Гуров. – Пропустил про дежурного.

– Ах черт, – вспомнил Плоскорылов. Ну конечно, как он мог забыть! Отчего-то он всегда пропускал этот пункт. – Дневального есть долг оповещать дежурного по роте, еще кто прибыл, убыл, прибил, убил, привалил, увалил, пристал, устал, приколотся, укололся...

– Ну?

– Черт... прости, инспектор. Не помню.

– Приложился, уложился, – небрежно продолжил посвященный. – Дневальный есть дежурного по роте первый помощник, правая рука и неодушевленный предмет... Достаточно. В следующий раз спрошу тебя про караульный грибок, и еще ты мне не доложиши квантум сатис, будешь имети от мене три наряда на кухню с отиранием стен и подносов с трехкратным отмыванием, понятно ли я излагаю? – Он расхохотался. – У тебя строевой устав не вызубрен, а я тебя посвящаю! Ну не развал ли воинской дисциплины? Ладно, пошли молиться.

В храме было прохладно, пахло свежим сырым дереном – то был славный запах хвои, живой природы, внушал себе Плоскорылов, хотя на деле это был запах мокрых досок, надолго зарядившего дождя и угрюмой крестьянской глуши. Теперь надо было быстро убрать всю убогую, дешевую мишуру полковой церкви – жалкие бумажные иконки, фанерное распятие, без любви выпиленное лобзиком и раскрашенное местным умельцем, – и расставить на алтаре арийские святыни.

Пока Плоскорылов хлопотал по хозяйству, Гуров осматривался. Вместе они молились только однажды, при самом первом приезде Гурова; о дне знакомства Плоскорылов не помнил с умилением. Молитвенный стиль инспектора поразил его аскетической скупостью – минимум выразительности, проборматывание, аккуратные жесты: будничность служения была важной приметой гуровского стиля, иерей даже пытался одно время копировать эту сухость, но его женственной природе она была покамест противопоказана. «Дело молодое», – любовно подумал он о себе. Гуров всякое повидал, его, должно быть, выжгло; он бывал у хазар, отлично знал их быт, не один день провел в общении с коренным населением – где тут было сохранить первозданную чистоту чувств?

Иерей разложил святыни – череп, свастику, кристалл, извлек из недр рясы старинный, закапанный воском и кровью молитвенник, укрепил в специальном держателе свечу вниз фитилем, подставил под нее чашу для сбора драгоценного освященного воска, снял крест и застенчиво спрятал в специальный карман, куда всегда убирал ненавистный хазарский символ во время собственных одиноких молитв; все было готово. Гуров пропустил бородку через кулак, поправил очки и посерьезнел.

– Сам будешь читать? – почтительно спросил Плоскорылов.

– Изволь, – сухо отвечал инспектор. Он положил правую руку на кристалл и размеренно, однако без подвываний и замедлений стал читать «Молитву о даровании победы арийской расе над сыновьями хамовыми»:

– Едине Истинный Господи Боже Израилев. Ты создал еси человека по образу Твоему и по подобию, при Ное же возблаговолил еси учредить и возвестити иерархию посреде племен сынов его, падения ради Хама, последиже чрез законоположника Мойсея и прочих пророк Ты рек еси многократне, яко не подобает никоего смешения имети с проклятыми сынами хамовыми. Сего ради подобает Тебе, ЯХВЕ, именоватися Всеотцем расы нордическия, яко избран есть корень Симов и Яфетов духовнаго ради господствия и обладания на земле сей. При конце же времен Ты Сам воздвиг вождя германстего, яко Кира новаго, егоже призвал еси учение о избрании расы ариев прорещи внове и свободити людей Господних от ига антихриста коллективнаго. И днесь со усердием молим Тя, о Всевышний и Всемогущий Творче, о еже вновь вознесенной на высоту быти священной свастике, бо суть символ древлий действия приснаго в людех Пресвятаго Духа Твоего. Собери воедино разсеянный Израиль и даруй нам Судию обетованнаго, яко Ты еси Бог воителей и меч Твой да пойдет пред нами во одоление над супостаты. Аминь!

– Аминь! – с чувством возгласил Плоскорылов.

На глазах у него кипели слезы. Слова молитвы, даже в суховатом и сдержанном исполнении инспектора, действовали на него наркотически. На словах «расы нордическия» он всегда ощущал такой прилив сил, что забывал и о дурной погоде, и о тупости баскаковцев: нерушимая истина сияла перед ним. «Ариев прорещи...» Как смел Каганат посягнуть на звание Израиля! В такие минуты иерей готов был рвать ЖДов зубами.

– Прочти «На рать идущим», – с мягкой улыбкой сказал Гуров, видя душевный подъем молодого друга.

– Адонаи Яхве, – умоляющим голосом начал Плоскорылов, борясь со слезами, – Владыко Господи Боже отец наших, Тя просим, Тебе ся мили деем, яко же бе изволил еси Сам взыти со угодником Твоим Моисеем, возводя люди Твоя Израильтяны из Египта в землю обетования, такоже и ныне Сам иди с рабами Твоими сими Анатолием и Петром (он радостно, громко поименовал себя и Гурова, лишний раз ощутив тайную с ним связь), и с вой сими, храня их день и ночь. Якоже бе укрепил Иисуса Навина образом Крестным, и молитвою Моисеевою на Амалика, и царства ханааньска секущая с ними. Якобе помогл Гедееону с тремя сты, прогонящу мадиамско множество, и секущу Зива и Зевея и Салмона, и вся князи

их, также и сим помози от избытков Пречестнаго и Животворящаго Духа Твоего, ныне и присно и во веки веком. Аминь.

– Аминь, Яхве наш Один, Велесе козлобрадый, смрадный, хвостозады, Отче верховный, идолище варяжское злобубучее, – неожиданно подхватил Гуров издевательски высоким голосом.

Плоскорылов в ужасе оглянулся на кощунствующего инспектора.

– Что с тобой, Петя?! – спросил он шепотом.

– А ты не знаешь, так не лезь, – холодно и резко отвечал Гуров. – Канон Велесу всевеликому седьмой, окончательный. А тебе не положено, до инициации. Не учи отца молиться.

– Но раньше ты никогда...

– Что я «раньше никогда»? – с вызовом спросил Гуров. – Все тебе знать надо, карьеристе пухлое, полногрудое. Порядок наведи и изыди конспектировати, да не узрю тебя, пока не отбарабаниши устав гарнизонный и караульная, полная и краткая. Убрал свои побрякушки и кру-ом арш! Благословляю, чапай отсюда.

Плоскорылов продолжал стоять столбом.

– Вольно, вольно, – махнул рукой Гуров и дробно рассмеялся. – Что ты, иерей, дурак какой... Ты думаешь, я тебя испытываю? Я тебя, засранца, люблю! – и звучно чмокнул Плоскорылова в щеку.

– В храме-то, – с мягкой укоризной выговорил Плоскорылов, еле переводя дух.

– Отче наш бо воитель, при нем и не такое сказати возмогу, – улыбнулся Гуров. – Уебывай, иерей, шевели булками. Я к тебе вечером зайду, а пока схожу гляну, каков у солдат есть моральный дух.

4

В это же самое время в избе баскаковской жительницы Фроси, где вот уже три месяца размещалась канцелярия шестой роты, перед командиром этой роты капитаном Фунтовым сидела женщина лет пятидесяти, того неопределенного социального положения, в котором пребывала теперь вся отечественная интеллигенция – люмпенизированная, но все еще не забывшая манер. На голове у просительницы был пестрый кашемировый платок, какие часто носили в семидесятые, во времена дружбы с Индией; руки ее были смиренно сложены на коленях, а лицо изображало мольбу. Женщина сильно нервничала. Это была солдатская мать Горохова.

Ротная канцелярия отличалась необыкновенной унылостью. Всякий человек, попадая сюда, почему-то чувствовал, что любые усилия тщетны. Грустны были желтые табуретки, тощие книжечки уставов, угрюм маршал Жуков на портрете. Пол скоблили трижды в день, и все-таки он был грязен. С потолка свисали три клейкие ленты, густо испещренные мушиными трупами. На окне сох ванька-мокрый. Дневальные регулярно поливали его, но что-то неподвластное дневальным поселилось в самом воздухе. Оно выпивало влагу из горшка ваньки, плодило мух и покрывало пылью подоконник. Стоило укрепить на окне белую занавеску, как она немедленно желтела от тоски. Безысходную тоску усугублял голос Фунтова, монотонный, как мушиное жужжание, – но клейкая лента для капитана Фунтова не была еще изобретена.

– Ведь вот вы в третий раз приезжаете, – монотонно говорил Фунтов, короткий, почти квадратный человек, которому было на самом деле двадцать семь, а выглядел он на все сорок – полный, сонный, будто присыпанный пылью. Немо можно было себе представить, о чем можно говорить с Фунтовым на пятой минуте совместного пребывания в одном пространстве. Он мог похабно ухмыльнуться при упоминании о женщинах, мог посетовать на изне-

женность и хилость молодого пополнения, мог сладко зевнуть и произнести любимую поговорку – «Эхма, была бы денег тьма, купил бы баб деревеньку да и драл бы их помаленьку», – но ничего другого в нем, казалось, не было вовсе. Особенно невыносимо бывает присутствие таких людей в минуты тоски или треноги, когда жадно ищешь любого человеческого слова и готов благодарить за один понимающий взгляд – но Фунтов был в этом отношении совершенным кирпичом, лишенным эмоций с рождения. В школе он вечно дремал на задней парте, зато славился тем, что умел быстро и решительно откручивать головы голубям. Офицер он был никакой – вялый, безинициативный, но именно полное равнодушие к судьбе солдат делало его бесценным в глазах начальства. Фунтова ставили в пример на офицерских собраниях, на которых Здрок произносил свои часовые кастровские речи. Фунтов был каким строевиком, ничего не смыслил в геополитической подготовке и вряд ли толком понимал, с кем и зачем воюет, – но в нем с некоторой даже избыточностью было представлено главное офицерское качество, а именно тупость; она настолько заполняла все его существо, что не оставляла места ни для чего другого, и за это Здрок любил его отеческой любовью, и даже Пауков сказал однажды, что Фунтов способный офицер.

– Вот вы в третий раз приезжаете, – лениво тянул он, – и что? Зачем вы приезжаете? Сын ваш, это самое, ваш сын присмотрен... Он подконтролен, это самое... Вы приезжаете, а другим обидно, к которым не приезжают. Он, это самое, не прослужил еще полгода, он имеет взыскания, он, это самое, еще не обсохло гражданское молоко на нем... Он не солки еще, а это самое, огурец... капуста... А вы приезжаете. И что вы приезжаете?

– Понимаете, – нервно говорила солдатская мать Горохова, искренне веря, что, если сейчас она найдет убедительные, единственно нужные слова, Фунтов сумеет облегчить положение ее сына. Нет, конечно, с фронта не отпустит, – военное время, ее и в часть-то пускали все неохотнее, требовалось включать все связи, звонить бывшему однокласснику, который отвечал все отрывистее, унижение, ужас, – но, может, хоть найдется какая-нибудь тихая должность, что-нибудь в штабе или в тылу, поближе к дому... Она не сомневалась, что у сидящего перед ней офицера должна быть душа – надо только до нее достучаться, но как это сделать, не понимала. Она приезжала в Баскаково в третий раз за четыре месяца, потому что сын изводил ее жалобами и просьбами, – но не могла ему помочь, а впереди был еще год и восемь месяцев этой пытки. За год, предшествовавший его призыву, и первые четыре месяца службы она состарилась на двадцать лет, и на лице ее установилось то вечно-жалкое, просительное выражение, которое сразу позволяет определить человека, махнувшего рукой на собственное достоинство. – Понимаете, он пишет, что у него флегмона... что он не может ходить, а его заставляют бегать...

– Они все пишут, что у них флегмона, – тянул Фунтов. – Никого не заставляют бегать, есть тапочки, все ходят в тапочках. Есть медпункт, в медпункте, это самое, все необходимое. Вы его не подготовили, это самое, служить, вот он и пишет. Если бы вы его подготовили, это самое, служить, он бы, это самое, не писал. Но вот он пишет, и вы едете, зачем вы едете?

– Он просил разрешить носки, – зачастила Горохова, – он не может, не умеет заматывать портянки, ну можно же, наверное, носки? Хотя бы на первое время...

– Портянка, это самое, – сказал Фунтов. – Портянка дает дышать ноге. Нога потеет, потная нога. В сапоге она гниет. Гниет в сапоге потная нога. Она гниет от пота, вы понимаете? И чтобы ей от пота не гнить, применяется сообразно устава портянка воинская суконная, также хабе, определенного образца. Она позволяет ноге дышать, и потом предки...

– Что предки? – в ужасе спросила солдатская мать.

– Предки наши, – вяло повторил Фунтов, по-бабьи пригорюнясь. – Наши предки воевали в портянках всегда. От слова порты, портянка. Еще Суворов: служи по уставу, заслужишь, честь и славу. Сталинградская битва в портянках, Курская в портянках. Нога не гниет, и можно что угодно.

Хоть маршировка, хоть это самое. Но надо уметь. Там хитрость в чем? Надо поставить стопу, ступню, на угол, потом и натянуть, чтобы не морщило, и быстро обернуть. Потом еще обернуть, чтобы облежала стопу, давала дышать потной стопе.

Тогда потом вот еще так подворачивается, – он лениво показал в воздухе, как именно, оборачивая при помощи одной короткопалой руки другую, будто солдатской матери Гороховой прямо сейчас, в ротной канцелярии, предстояло обернуть свои стопы портянками и направить их на физподготовку.

И это, и все. Тут делов на пятнадцать секунд по нормативу Потопать еще для уплотнения. Носок не дает дышать ноге, она гниет в нем, начинаются нарывчики и это... (Сам Фунтов в училище ходил в носках, получал за это наряды, но толком наматывать портянку так и не научился.) Портянка русский солдат, это такое русское наше изобретение. Если русский солдат, то портянка. Это знают все, Европа знает, Австралия. – Он помедлил, вспоминая, что еще есть – Африка знает.

– Но понимаете, – все безнадежнее повторяла Горохова, – он не может... Это не всем дано... Он не может бегать. Он хорошо пишет, каллиграфически... Может быть, вы подберете ему должность какую-то, я не военная женщина, я не знаю, какие у вас есть должности... Может быть, что-то с биохимией, он биолог, со второго курса...

– Я говорю вам, – пресно сказал Фунтов, – он на общих основаниях должен. Какая у нас, это самое, биология? Отслужит на общих основаниях, и будет биология. У нас тоже народ умный, студенты, у нас один прапорщик такие, это самое, знает слова, что ваш сын наверняка таких не слышал. Современная армия, это самое. Дружная семья, солдаты вместе кушают, вместе спят... А что флегмона, то у них у всех флегмона. Когда зарядка, то флегмона, а как в чипок, то у них просто хоть танцы танцуй. Как, это самое, Маресьев.

– Что такое чипок? – оцепенело спросила солдатская мать Горохова.

– Чипок, солдатская чайная, – пояснил Фунтов, – так называется, чипок. Чпок. Там культурно, пряники, сахару купить если когда... Мы же не против, это самое. Но прежде чипка надо же, это самое, родину – так? Надо родине служить. Ты побегай утром на свежем воздухе, и тогда и чипок тебе, и вечерняя прогулка. А если мать все время, это самое, приезжает с кастрюлями, то какой ты будешь солдат? В военное тем более время.

Услышав о военном времени, Горохова вышла из оцепенения и потеряла всякую власть над собою.

– Военное время! – закричала она. – У вас солдат из автомата выстрелить не может в военное время! Мне сын рассказывал, что служит уже четыре месяца, а на стрельбище был один раз! У вас солдаты картошку чистят в военное время, и в роте моют пол, и бегают по кругу, пока ноги не сотрут до кости! Вы все говорите, что мы плохо подготовили наших сыновей, а вы кого готовите?! Вы четвертый год воюете, что вы навоевали?! И не надо нам тыкать, что мы плохо подготовили! У моей соседки мальчик был разрядник, его на второй месяц убили! Вам не надо, чтобы хорошо готовили! Вам надо быдло бессловесное, куда послали, туда пошел!

В эту секунду солдатская мать поняла, что окончательно лишила своего сына шансов на перевод в штаб или на другую халявную работу, потому что совершила непопозное, невозможное – подняла голос на офицера. Она сползла со стула, встала на колени и принялась стучать лбом в пол ротной канцелярии.

– Простите меня, я вас умоляю, – завывала она. – Я вас умоляю, простите. Отец болен, не встает, мой муж, его отец! Я все что хотите, что скажете, как скажете... Простите, ради бога, я больше не могу...

– Женщина, – не пошевелившись, тянул Фунтов. – Мать Горохова! Встаньте, это самое, что вы! Вы как это... как у себя дома. Это военное место. Что вы говорите, отец не встает, –

у всех не встает, вам тут любой такого наговорит... Что вы, это самое, как будто здесь вам цирк... Здесь не цирк, а канцелярия боевой роты... Давайте, это самое...

– Я никуда не уйду, – пролепетала мать Горохова. – Я что хотите буду, я сапоги вам буду чистить. Я любые деньги... Я умоляю вас, я никуда...

– Дневальный! – крикнул Фунтов. Вошел дневальный, толстый солдат Дудукин, с лица которого не сходило выражение тупого счастья. Дудукин считался образцовым солдатом, невзирая на толщину. Он плохо бегал, но его часто ставили в наряды, – он обожал мыть полы, ловко выжимал тряпку и вообще по-женски легко справлялся с непрерывным наведением порядка. Постричь кого-нибудь, побрить сзади шею, вырезать ножичком мужика с медведем Дудукин тоже был мастер.

– Тыщ-капитан, дневальный Дудукин по вашему приказанию прибыл! – рывкнул он с наслаждением.

– Это самое, – сказал Фунтов. – Поднимите мать, и это. Препроводите там. Воды дайте. На тумбочке оставите отдыхающую смену. И нечего. Скоро вообще будет не канцелярия роты, а бардак номер четырнадцать.

Почему номер четырнадцать, никто не знал. Такая у капитана Фунтова была народная поговорка.

Солдатской матери Гороховой стало невыносимо страшно. Она впервые в жизни поняла, что внутри у этого человека нет совсем ничего и именно поэтому он командовал ее сыном. Она поняла, как жутко должно быть ее сыну, окруженному этой совершенно нечеловеческой массой, кушающей вместе, спящей вместе, наматывающей портянки. Также должна была чувствовать себя муха, убедившаяся, что к мушиным чувствам липучки вызывать бесполезно. Надо было убивать, если помучится, но солдатскую мать Горохову никто не учил убивать. Оставался единственный выход – дать сыну превратиться и такую же биомассу, потому что выжить иначе было нельзя. Солдатская мать, шатаясь, вышла из ротной канцелярии. Приезжать сюда больше было незачем.

Ее сын Горохов еще ничего не знал, надеялся на послабление, сердился на мать, что она так долго, и на себя, из-за своей неумения быть как все. Кроме того, Горохов надеялся на гостинец. Он знал, что мать привезла пирожки и прямо с пирожками пошла к ротному. На гражданке он никогда не думал, что в день приезда матери, в час, когда в разговоре с ротным решается его солдатская судьба, его будут занимать пирожки. Но они занимали, он видел их ясно: если даже ротный ни на что не согласится, а такое не исключено, хотя мать очень настойчива, – можно будет утешиться по крайней мере едой, только съесть надо быстро, ни в коем случае не брать с собой в роту. Все можно было перенести, только не зрелище материнских пирожков, уплетаемых боевыми товарищами.

Он не знал, что мать его в это время, согнувшись, бредет по Баскакову в сторону автобусной остановки, дальше, дальше от бывшей школы, где стояла рота. Сумка с пирожками была ее по ногам. У солдатской матери Гороховой не было сил еще раз видеть сына, смотреть в его глаза и обещать перемены к лучшему. У него не должно быть надежд. Автобус пришел через полчаса и, воя, повез солдатскую мать Горохову в райцентр, откуда ей предстояло сутки добираться до Москвы единственным поездом. Выл автобус, выла Горохова, выл ослизлый пейзаж за окном.

5

В это же самое время на плацу, раскисшем после трехдневного дождя, проходила строевая подготовка писателей, прибывших в Баскаково по разнарядке газеты «Красная звезда».

Писательскую бригаду сформировали в Москве и отправили на южнорусское направление, где они и застряли после начала боев – верховное командование запрещало отпускать их назад. Конечно, прямой опасности не было – как-нибудь не убили бы, но ЖДы могли их перехватить, а этого главнокомандованию не хотелось категорически. К ЖДам и так перебежало слишком много мелкой литературной сволочи, купившейся на посулы свободы. Никакой свободы не дали, да и вообще к этнически чуждому элементу в ЖДовской армии относились недоверчиво, – по первому каналу прошел даже сюжет о том, что перебежчики живут у них на положении военнопленных, – однако среди писателей бытовал миф о хазарской вольности, и потому немногих преданных людей следовало беречь. В результате бригада патриотически ориентированных писателей в количестве восьми душ третью неделю сидела у Паукова на шее, жрала армейский паек и встречалась с рядовым составом.

Писателей хотели было поселить всех вместе, при штабе, но из Москвы пришла директива окунуть их в жизнь. После директивы гостей рассредоточили по избам, познакомили с ротными командирами, а командирам приказали обеспечить доступ московских литераторов к наиболее героическим рядовым. Ротные оказались в недоумении – выискать героев, достойных попасть на страницу «Красной звезды», в пауковской дивизии было трудно. Армия занималась по преимуществу шагистикой, геополитикой, чисткой оружия да разнообразила будни учащавшимися расстрелами своих.

– Вот, пожалуй, рядового Краснухина возьмите. Хороший рядовой, – смущенно улыбаясь, советовал взводный, старший сержант Касаткин. – Он подвигов больших не совершал пока... но, находясь на посту, в карауле, произвел предупредительный выстрел, когда проверяющий намеренно не назвал пароля. Чуть проверяющего не застрелил, хороший солдат.

– Здравствуйте, – заискивающе говорил писатель Курлович, по происхождению полухазар, но убежденный государственный. Перед ним в ротной канцелярии сидел, положив огромные руки на круглые колени, краснорыжий, краснорожий рядовой Краснухин. – Расскажите мне, пожалуйста, о вашем подвиге.

– Да чего ж, – смущенно говорил Краснухин. – Ну это... стою. И как-то что-то мне дремлет. Но думаю: нет, нельзя!

– А что вы охраняли? – спешил уточнить Курлович.

– Да это, как его... Грибок я охранял караульный!

– А, да-да, конечно, – мелко кивал писатель Курлович, спеша продемонстрировать знакомство с воинским бытом. Однако в очерке требовалась дотошность, а зачем нужен караульный грибок, Курлович понятия не имел. – Простите, – уточнил писатель после недолгого колебания, – а зачем все-таки нужен грибок?

– Ну это, – нехотя пояснял рядовой Краснухин, опасаясь уже, нет ли тут какого подвоха: может, его просто таким хитрым образом проверяют на знание устава? – согласно пункта пятого Караульного уложения... Населенный пункт в сельской местности при постое взвода, роты, полка или иного воинского формирования должен охраняться ночным дозором часовых с интервалом в пятьдесят метров один от другого, снабженных караульным грибком каждый согласно параметрам грибка. Параметры грибка согласно устава пять в длину на три в ширину, высотой караульного столба два метра, для создания защиты охраняющего караульного от возможного дождя и шквалистого ветра, бурана, снежных хлопьев и жестокого града, в целях желательного предохранения личного состава от простуды, гнойных нарывов и иных форс-мажорных обстоятельств. – Краснухин перевел дух, Курлович неустанно строил. – Ну и вот, и стоит грибок. Согласно параметрам, сами выпиливали. А дождь хлещет – просто в душу и в мать!

– Любите мать? – с доброй улыбкой спросил Курлович. Краснухин опять заподозрил подвох.

– Извините, это выражение такое...

– Я понимаю! – воскликнул Курлович. – Что же я, не русский?! Но мне хотелось бы деталь, понимаете? Что вы стоите под дождем на посту и вспоминаете мать.

Рядовой Краснухин в ту ночь и точно часто вспоминал мать, но к его собственной родительнице, рослой мосластой женщине из-под Воронежа, это не имело никакого отношения.

– Мать моя в больнице санитарка, – смущенно пробасил Краснухин. – Отца с нами нету, а мать ничего, пишет.

– Ну и что вы вспомнили? – наседал Курлович, почувствовав живинку, яркую и сочную деталь. – Может быть, запах домашних котлеток? Не стесняйтесь, домашние котлетки – это же тоже часть нашего дома, нашей любви к малой родине!

– Нет, мать все больше по картофельным, – признался Краснухин. – Лепешки такие, знаете, драники?

– Знаю, конечно! – радостно закивал писатель; драники не грибок, материя знакомая.

– Ну вот, – задумался рядовой. – Голубцы еще иногда.

– Скажите, а помните вы руки вашей матери?

Краснухин вспомнил длинные руки с распухшими суставами и плоскими ногтями. Ему стало жалко мать, от которой он, конечно, мало видел ласки, но обиды на нее не держал.

Все таки она его не била, хотя следовало бы. Несколько раз он по молодой дурости залетел в детскую комнату милиции, один раз поучаствовал в ограблении ларька и чудом не попался, – в общем, если бы не армия, запросто мог бы загреметь в места не столь отдаленные; мать была как мать, не хуже чем у остальных, – чего эта очкастая гнида прицепилась? Ну, вспомнил, – сказал он с раздражением. – А чего руки матери? При чем вообще мать? Но вы же сами упомянули...

– Я в том смысле, что дождь в бога и в мать! – сердито повторил Краснухин.

– Скажите, а в Бога вы верите?

– В Бога? – переспросил Краснухин. – Согласно устава, Русь Святая есть боговыбранная держава, выгодно и симметрично расположенная повдоль шестой части суши и красноукрашенная от щедрот Отца, Сына и Святого Духа, защита же ее есть священная обязанность православного воинства, поставленного для того, чтобы сохранять, сдерживать, препятствовать, бдить и неукоснительно блюсти.

– Это вы сами? – взволновался Курлович. – Это, вот сейчас, – ваши собственные слова?!

– Зачем мои, – смутился Краснухин, – это глас шестой общевоинского устава от Софрония Пустынника. Вы не читали разве?

– Читал, конечно, читал! – засуетился Курлович. – Просто ... понимаете, вы так искренне сказали... Я подумал, может быть, вы тоже пишете что-то... стихи, поэмы?

– Нет, я не по этой части. Я караульного взвода. Устав там, пол драить, себя подшить... грибок поставить, если чего.

– Ну хорошо, – разочарованно сказал Курлович. – Вот вы стоите, и что?

– И слышу шорох, – медленно выговаривал Краснухин – Я кричу: стой, кто идет? На это, согласно устава, мне должен быть отзыв: «Конь в пальто». Но как я отзыва не получаю, то произвожу досыл патрона в патронник и вторично задаюсь вопросом: кто идет? Не получая ответа после третьего повторения, я произвожу выстрел в воздух, и тогда проверяющий разводящий сержант Глухарев открывается мне, произнося команду «смирненно». Но так как я не получаю отзыва, то и навожу на сержанта Глухарева личное оружие и досылаю патрон в патронник вторично, требуя парольственное слово. И тогда сержант Етухарев произносит отзыв, после чего я опускаю оружие и докладываюсь по форме.

– Скажите, – с некоторым испугом спросил Курлович, – а если бы сержант Глухарев и тогда не произнес отзыва?

– Тогда, – словно удивляясь самому себе, недоуменно выговорил Краснухин, – я произвел бы выстрел в грудную часть тела сержанта Глухарева, согласно устава, вплоть до окончательной смерти данного последнего.

– Но ведь это ваш разводящий, вы же его прекрасно знаете. Неужели...

– А что ж, что разводящий? – в том же недоумении переспросил Краснухин. – Ну разводящий. А враг может прикидываться и проникать. А ежели его завербовал кто. Или он пьяный, что отзыва не помнит. Он нарушил, так? Нарушение означает стрельбу. И потом, я три раза обратился. Я патрон в патронник дослал. Если он сержант Глухарев, то мог среагировать, а если зомби? У нас «Ночь живых мертвецов» показывали. Видели «Ночь живых мертвецов»?

– Видел, – упавшим голосом сказал Курлович. – Но ведь сержант Глухарев на вас надвигался не с внешней стороны? Ведь он из села шел, так?

– Так, – кивнул Краснухин, не понимая, какое отношение это имеет к теме.

– Значит, – подробно, в стиле устава принялся объяснять Курлович, – он двигался в ваше расположение не из внешнего пространства, а из вашей собственной части, не имея целевого намерения захватывать кого-либо куда-либо?

– Ну, – кивнул Краснухин. Речь шла об очевидных вещах.

– Ну так за что же было его убивать?

– А мне какая разница, идет он из расположения части или из внешнего пространства? Он не выполняет уставное требование, значит, я должен действовать согласно уложения. Может, он хочет побег совершить.

– Действительно, – сказал Курлович, – об этом я не подумал. И что, если бы вы его убили?

– Отпуск бы дали, – улыбнулся Краснухин, растягивая толстые, словно резиновые, губы.

В таких расспросах писатели провели две недели, после чего Здроку и Паукову надоело, что люди живут рядом с солдатами, но встают когда им заблагорассудится и вообще нарушают боевой распорядок. Их было сказано окунуть в жизнь, а это получается не окунание, а так, слегка макание. К тому же из Москвы прислана была директива устраивать писательские вечера вопросов и ответов для личного состава, но личный состав произведений данных писателей не читал и потому истощил все свои вопросы уже в первый день. Уже он спросил у писателей, сколько им платят и почему, и поинтересовался творческими планами, но разрядка была – по одному вечеру вопросов и ответов на каждого писателя, а их в бригаде было, как мы помним, целых восемь. С писателями надо было что-то делать, – судя по всему, они застряли надолго, – и генерал Пауков принял решение, какому позавидовал бы и ЖДовский легендарный персонаж Соломон. Первую половину дня писателям надлежало маршировать, ходить в наряды, выполнять погрузочно-разгрузочные работы – словом, по полной программе тянуть солдатскую лямку. Во второй же половине дня, когда солдаты занимались геополитической подготовкой или готовились к заступлению в наряд, они возвращались в свой писательский статус: встречались с рядовым составом, задавали им вопросы о службе или давали ответы о своей литературной работе.

Через неделю строевых занятий писатели перессорились. Они и до этого не особенно друг друга любили, чему способствовало их гниловатое ремесло, но после первых же занятий по шагистике и химзащите, когда пришел конец их относительно вольной командировочной жизни, возненавидели друг друга окончательно. Они честно маршировали, надевали химзащиту и бегали кроссы с полной выкладкой, начиная задыхаться после первых ста метров. Сержанты отечески подбадривали их пинками, а когда заслуженный писатель Осетренко упал на землю и захрипел, что больше не может, остальным пришлось тащить его на

себе. После этого писатели измутили Осетренко не хуже, чем сержанты, и вообще в них начал проявляться здоровый варяжский дух.

Во второй половине дня едва пришедшие в себя писатели снова встречались с личным составом и отвечали на вопросы тех самых сержантов, которые только что дрючили их на плацу. Так достигалось равновесие между воинской обязанностью и служением музам.

Как раз сейчас сержант Грызлов дрессировал писательскую бригаду перед зданием баскаковской школы, рядом с покосившимися баскетбольными стойками и накренившимися шведскими стенками.

– Носочек тянем! – грозно прикрикивал он. – Жопы втянуть! Втянуть жопы, интеллигенция! Нажрали тут себе на гражданских харчах... Здесь армия, а не колхоз! (как будто все остальное время писатели провели в колхозах). – Что вы смотрите на меня глазами срущей собаки?! Смирно! Направо! Кру-гом! Левое плечо вперед, шагом марш! На месте стой, раз, два! Начинаем сначала! Левую ногу по-днять! Опустить... У вас нога или кусок дерьма, краб второй статьи Струнин? Ответа не слышу!

– Нога, – едва шевелил губами пожилой писатель Струнин.

– Не вижу ноги! Вижу кусок дерьма! – с удовольствием повторял сержант Грызлов. – Всем на месте, Струнин выполняет команду один! Ногу по-днять! Вытянуть! Носочек тянем! Стоять! Стоять, сука!

Струнин покачнулся на одной ноге и рухнул в грязь. Никто из писателей не поддержал его. Все брезгливо посторонились. Струнин, если честно, был плохой писатель, никто из коллег его не любил, а сборник его очерков «Соловьи генштаба» – о российских военных литераторах – считали чересчур льстивым даже в патриотическом лагере.

– Поднимитесь, – брезгливо говорил Грызлов. – Что это такое, краб Струнин? Если бы ваша жена вас сейчас видела, что бы она сказала? Небось, когда на жену лезете, не падаете? Ногу по-днять!

– Все-таки это черт знает что, – говорил сановитый, крупный писатель-патриот Грушин, поедая вместе с солдатами жидкий, пересоленный борщ, то есть свекольный отвар с редкими листьями гнилой капусты. – Сколько нам еще терпеть? Давно бы в Москве были!

– А кто нас в эту бригаду втянул? – с ненавистью спрашивал Грушина желчный, тощий фельетонист Гвоздев. – Кто всех собрал?

– Ну, знаете, – пожимал плечами Грушин. – Я всегда считал, что место русского писателя – в воинском строю.

– Так чем же вы недовольны? Каждое утро ходите в воинском строю, – замечал Гвоздев.

– Но каждый служит по-своему... Я служу пером...

– Вот и будете пером в заднице Здрока, – говорил Гвоздев. Грушин смотрел на него с неммым укором и прикидывал, в каких выражениях вечером напишет на него донос. Все писатели писали доносы друг на друга, у особиста Евдокимова они лежали в отдельной папке и составляли перл его коллекции. Писатели умели писать, выражения у них были извилистые, цветистые, – первенствовал Грушин, называвший Гвоздева то цепной гиеной, то бешеной лисицей. Еще хорошо писал драматург Шубников, у него был крепкий круглый почерк и чеканный слог, отточенный сериалами. Слова были все больше односложные, – гад, тварь, мразь, – в сериалах двусложные давно стали редкостью, а трехсложные вымарывались продюсерами.

После обеда, как водится, писатели отвечали на вопросы. Тот самый сержант Грызлов, который только что сравнивал ногу Струнина с куском дерьма и интересовался его способами залезания на жену, спрашивал с самым искренним подобострастием:

– Товарищ краб второй статьи! Расскажите о ваших творческих планах!

Никакого притворства в таком поведении не было. Сержант Грызлов был то, что называется «зубец», то есть служил по уставу с намерением заслужить честь и славу. Согласно

уставу и сержантским правилам, в первой половине дня он обращался с писателями как с молодым пополнением, которое надлежало всемерно уничижать, дабы пополнение понимало, куда попало, а во второй смотрел на них как на делегацию литераторов, приехавших в часть. В сущности, главной воинской добродетелью, которую Грызлов, конечно, не формулировал для себя по незнанию некоторых слов, но чувствовал печенью, как раз и было такое стопроцентно ролевое поведение, когда все связи, кроме предусмотренных субординацией, упраздняются. Грызлов наверняка был бы нежен со своей матерью, прибудь она в расположение роты на так называемый родительский день, но, попадись она ему в качестве молодого пополнения, он бы и ее заставил заниматься шагистикой и подтягиваться на турнике. Этот сержант нравился Плоскорылову, замполит обращал на него серьезное внимание, хотя Грызлов и не принадлежал к варяжскому роду. Грызлов, несомненно, был из самого что ни на есть коренного населения, кондового и неразвитого, но он обладал солдатской жилкой – не косточкой, подчеркивал Плоскорылов, косточка бывает только у варяжского контингента, а жилкой. Грызлов умел принимать ту форму, в которую его залили – или, в данном контексте, затянули; далеко не все коренное население обладало такими способностями, но оставить от него стоило только эту, гибкую и сознательную часть.

На вопрос о творческих планах Струнин в последнее время отвечал часто. Других вопросов ему почти не задавали. Он откашлялся и солидно начал:

– Знаете, в моем творчестве всегда большую роль играла наша армия. Я считаю, что если поставить рядом педагога, допустим, и офицера, то лучшим педагогом окажется офицер. Или если водителя и офицера. Или, допустим, дрессировщика и офицера. Во всех отношениях лучше окажется офицер. Я всегда любил русское офицерство. В нем есть, согласитесь, какая-то особенная выправка, выпушка. И вот я думаю написать сейчас книгу об офицерстве, как оно сложилось, как стало настоящей воинской аристократией, – о лучших русских офицерах со времен Ивана Грозного. Хотелось бы дать такой, знаете, групповой портрет или даже венок, хотелось бы возложить его на русское офицерство, которое грудью пробило России дорогу к морю, которое прикрыло всем телом братские славянские народы, которое отличается всегда удивительной чистоплотностью... Вот если я сочту себя достойным, то приступлю немедленно к этой книге. Думаю, что достойное место в этой галерее блестящих русских офицеров займет генерал Пауков, руководящий той самой дивизией, которая сейчас гостеприимно встречает нас. Я ответил на ваш вопрос?

– Так точно, – радостно отчеканил Грызлов. – Р-рота! Еще вопросы!

– Товарищ краб второй статьи, – неуверенно произнес рядовой Сапрыкин, – расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах.

Струнин откашлялся.

– Знаете, – начал он, – в моем творчестве всегда большую роль играла наша армия. Я считаю, что если поставить рядом, скажем, врача и офицера, то лучшим врачом окажется офицер. Или если, допустим, престижиста и офицера, то лучшим престижистом окажется офицер. Офицер умеет все, его этому учили. В русском офицерстве есть какая-то особенная мастеровитость, хватчивость. И вот я думаю сейчас написать книгу об офицерстве, как оно сложилось в особенную касту, в орден меченосцев. Как вообще становятся офицером, почему не всякий, а только избранный достоин этого звания. Хотелось бы, знаете, сплести такой венок или даже косичку и возложить это на русское офицерство, которое лбом пробивало России дорогу к морю, которое прикрыло грудью братские славянские народы, которое отличается всегда удивительно приятным запахом... Вот если я почувствую в себе силушку, то я приступлю немедленно к этой книге. Думаю, что одно из первых мест в галерее блестящих офицеров займет генерал Пауков, которому вверена сейчас наша писбригада. Я ответил на ваш вопрос?

– Так точно! – ответил за Сапрыкина Грызлов, которому было видней. – Р-рота! Вопросы товарищу крабу!

– Товарищ краб второй статьи, – отчеканил другой зубец, явно будущий сержант рядовой Сухих. – Ваши творческие планы!

– А волшебное слово? – грозно произнес Грызлов.

– Пожалуйста! – отчеканил Сухих. Струнин откашлялся.

– Знаете, – начал он, – в моем творчестве всегда большую роль играла наша армия. Я считаю, что если поставить рядом, скажем, мать и офицера, то лучшей матерью окажется офицер. Или если, допустим, верблюда и офицера, то лучшим верблюдом окажется офицер. Офицер умеет все, он так обучен. В русском офицерстве есть какая-то особенная округлость, уютность. И вот я думаю сейчас написать книгу об офицерстве, как оно сложилось в теремок, в сундучок. Как вообще становятся офицером, почему не всякий, и хотелось бы сплести сеть, вязь... которое ногой открыло России дверь к морю и попой, попой своей прикрыло славянские народы... Вот когда меня как следует разопрет, то я тут же. Думаю, что не обойдется без генерала Паукова... ххо! Когда же обходилось без Паукова? Весь наш писдом ему признателен... Я ответил на ваш вопрос?

– Так точно! – очнувшись от короткого сна (в русских войсках все умели засыпать в любую свободную минуту), бойко ответил Сухих.

– Р-рота! – скомандовал Грызлов. – По одному на выход! Благодарю вас, товарищи писатели!

6

Вечером, перед сном, писатели ссорились.

– А ведь вы еще в девяносто девятом году... – начинал Грушин.

– Эка вспомнили! – зевал Гвоздев. – Если вспомнить, что вы про Банана писали...

– А я помню, помню. И что я писал, и что вы писали. И вот господин Струнин что писал. Помните, Струнин? Я особисту-то могу и номерочек указать, и журналчик...

– Вы всегда мне завидовали! – вспыхивал Струнин. – Всегда! Вы не отличаетесь чисто-плотностью, у вас от ног пахнет!

– Вы больно отличаетесь... Я знаю, что ваша фамилия Стрюцкий.

– Господа, – пытался урезонить всех Курлович. – Мы интеллигентные люди... Мы творческие люди, господа...

– А вы молчите, не лезьте в русский спор! – прикрикивал на него Грушин, тотчас забыв, что Струнин тоже не совсем чист. На фоне Курловича он был все-таки свой. – Я вот доложу особисту, что вы писали о хазарстве в девяносто шестом году...

– Прекратите, стыдно! – вступал в спор Козаев, один из творческого тандема КозаКи, сочинявшего боевики о похождениях русского спецназа.

– Мы на фронте все-таки, – поддакивал его соавтор Кириенко.

– На фронте вы... – ворчал Грушин. – Боевички... Поставщики бульварного чтива...

КозаКи его не слушали и удалялись в свою избу. Там им предстояло до утра ваять шестнадцатый роман о похождениях своего сквозного персонажа, офицера спецслужб Седого. «Мы люди государевы, – приговаривал Седой, топча ослизлые внутренности шахидки, – люди служилые...» Книга должна была уйти в издательство не позднее пятнадцатого августа – за опоздание КозаКов могли открепить от пайка.

А Грушин, Гвоздев и Струнин долго еще переругивались в темноте – и, словно вторя им, лениво брехали и чесались баскаковские собаки.

Глава четвертая

1

Плоскорылов весь день чувствовал, что вечером его ожидает нечто приятное; он носил это приятное глубоко в душе, опасаясь беречь и тем обесценить. На самом деле, конечно, он боялся признаться себе в одной штуке, потому что еще не придумал для штуки такого объяснения, которое позволяло бы уважать себя за это. Дело было в том, что вечером ему предстояло соборовать Воронова, – напутствовать казнимых входило в прямые обязанности капитана-иерея, и всякое честное исполнение своей обязанности было Плоскорылову отрадно; но ни к одной из своих многочисленных обязанностей не относился он с такой интимной, почти стыдной нежностью. Всякий раз, как кого-нибудь казнили, это наполняло душу Плоскорылова восторгом, умилением и еще той не вполне понятной истомой, которую он чувствовал при звуках пения девы Иры. Эта истома была недвусмысленно любострастного свойства, и потому-то капитан-иерей боялся вдаваться в самоанализ.

Он впервые почувствовал темное влечение к приговоренным при соборовании молодого солдата Калинина, попавшегося на попытке самострела. Калинин кричал на трибунале, что автомат сам выстрелил, что он отработает и отслужит, и глубоко осознал, что он единственный сын у матери, – и в какой-то момент для него забрезжила надежда: время было относительно мирное, затишье между боями, взысканий он не имел, отличался даже наглостью, с которой строил молодых, – то есть мог, мог еще исправиться; известен был случай, когда он накормил молодого дерьмом, а стало быть, вполне тянул на сержанта. Плоскорылов на трибунале любовался этим красивым, нахальным парнем с сочным ртом и широко посаженными глазами. Однако, когда Калинин профессионально разрыдался и дал несколько прочувствованных клятв отслужить и загладить, капитан-иерей ощутил легкий страх и разочарование. Ему показалось, что Калинина оправдают, и он, Плоскорылов, вследствие этого лишится важного и поучительного зрелища. Конечно, сохранить отважного строевика для будущей службы тоже хотелось, – но почему-то Плоскорылову казалось, что мертвый Калинин лучше, полезнее живого. Он воспользовался обычной своей прерогативой – взял слово и в два счета убедил суд, что, даже если Калинин выстрелил себе в ногу по чистой случайности, это еще опасней, чем самострел. Много ли навоюет солдат, у которого автомат сам собой стреляет в ногу своему обладателю? Это ли зовем мы правильным, вдумчивым отношением к табельному оружию? И не будет ли в высшей степени равновесно, если Калинин за случайный, пусть так, и одиночный выстрел в ногу расплатится закономерным залпом в грудь? В казни ведь важна эстетическая соразмерность, адекватность искупления. «Сим провинился, сим казню, сим очищение свершается, аще же кто помилования взыскует – на хер, на хер!» – процитировал он с особенным наслаждением глас осьмый из свода песнопений «Нельзя помиловать». Стоило Плоскорылову зажурчать своим ласковым голосом, который про себя он сравнивал с плавно текущей мягкой сталью, как и Калинину, и всем его судьям стало ясно: надеяться не на что. Плоскорылов был не из тех людей, что упускают возвышенные удовольствия. Их в действующей армии и так немного.

А сегодня вечером он должен был приобщать святых тайн рядового Воронова, провинившегося отсутствием варяжского духа и капитулянтскими разговорами. Воронов не успел особенно напортить – слава Велесу, вовремя разоблачили, – но воин из него все равно был никакой, а для воспитательных целей он годился. Плоскорылов должен был подготовиться. Он переоделся во все чистое, понюхал себя, нашел свой запах приятным и здоровым, истинно варяжским, и слегка побрызгался «Юнкерским». Следовало повторить святые

тайны. Варяжская вера отличалась от подлого хазарского наваждения еще и тем, что умирающему не просто предлагался хлеб и вино, но сообщалась некая информация. Информацию эту все встречали по-разному – Калинин, например, чуть не обмочился от изумления (если б не это, он бы встретил смерть без всякого достоинства и, верно, визжал бы как свинья, – но святые тайны поразили его до того, что на расстрел он пошел в тупом животном изумлении. С варяжской точки зрения, лучше было умирать по-коровьи, нежели по-свински). Другие говорили, что догадывались давно. Третьи ничего не понимали, принимая Последнее Откровение за фигуру речи. Но Плоскорылов был выпускником богфака и знал, что все так и есть.

2

Все было продумано, хоть, может, и бессознательно, на уровне инстинкта, заменяющего варягу мысль. Мыслить словами варягу вообще несвойственно, людей слова он презирает. Он не любит слово именно потому, что слова предполагают нечто помимо инстинкта. Вся человеческая мораль укладывается в возможность перекинуться последним словом перед казнью, подмигнуть перед боем, пошутить на смертном одре – то есть как-нибудь доказать свою не совсем звериную, а там, как знать, почему бы и не бессмертную природу. Но все эти проявления того, что так общо называется душой, варяжству были искони отвратительны, и паролем для опознания своих служило у них пустое, тесное, пыльное место там, где должна гнездиться душа.

И весь мир они хотели сделать таким же холодным, пыльным местом. И все людское – привязанность к родителям верность друзьям, жалость к больным – казалось им мерзостью, требующей преодоления, и потому они тащили к себе в союзники даже одного несчастного немца, захлеб говорившего о преодолении человеческого; и это было похоже на то, как если бы водолаз брал в союзники канатоходца. Одни отказывались от человечности, проваливаясь глубже, в почву, к червям; другой рвался в горы, столь же безжизненные, как почва с ее слепой растительной волей, – но варягам по причине их врожденной тупости и немцу по причине его безумия было одинаково невдомек, что сверхчеловечность, если уж пользоваться их любимым словцом, – это всего лишь человечность, доведенная до высших ее проявлений: мать, не спящая пятую ночь над больным ребенком, старик, объездивший весь город, чтобы достать куклу... И поскольку они не понимали этой нехитрой, в сущности, вещи, – немец рехнулся, а у варягов никогда ничего не получалось, пока они не набрали наконец на страну, не сумевшую или не захотевшую им сопротивляться.

Конечно, казнить умели только варяги. Многие народы любили изощренно мучить – своих и чужих, но и в этом был уродливый, страшный излом человеческого: душевная болезнь есть все же свидетельство о душе. У варягов же души не было настолько, что до утонченных издевательств они не снисходили. И для людей вроде рядового Воронова это было всего страшней: жертва, которую пытаются, все-таки надеется, что она может что-то сказать или сделать, чтобы ее пощадили. Она до последнего верит, что мука ее не самоцельна (и иногда так оно и бывает). Воронов же чувствовал, что его просто не должно быть, что машина выбрала его, проверила на вкус, насадила на иглу и несет теперь к железному, воронкообразному рту, и как бы он себя ни вел – изменить эту участь не в его силах. Кается пища, извивается или, напротив, встречает смерть мужественно и достойно – она все равно пища, и никаких оправданий у нее нет. Она, собственно, и не виновата. Злимся ли мы на хлеб? А?

Чтобы не полностью поддаться власти машины, Воронов пытался думать о том, что было в нем человеческого. Больше всего он думал о доме – о том, что варягам было всего ненавистней. Дома у Воронова были мать и сестра, и еще оставался в Москве дядя с мате-

ринской стороны. Особенно страшна почему-то была мысль о том, что в это самое время, пока он сидит тут в сарае, а за дверью, охраняя его, без единой мысли о нем ходит рядовой Пахарев, – жизнь его семьи в Москве продолжается, что эти два мира существуют одновременно. И когда Воронова будут убивать (причем человек умирает не сразу, он, читал Воронов, умирает где-то девять минут, пока агонизирует мозг), – дома еще никто ничего не будет знать, и в это самое мгновение его будут ждать, и мать его ничего не почувствует, а если и почувствует, то не придаст значения. Она никогда не давала себе воли, иначе давно сошла бы с ума только от того, что Воронов где-то вне дома, в неизвестном месте, среди чужих людей. Он у нее был домашний мальчик, нежный, мечтательный, сострадавший даже газете, которую выбрасывали в мусоропровод. Дома всегда всех жалели и прикармливали, все дворовые собаки ждали, когда Воронов отправится в школу и обязательно чего-нибудь вынесет. Это делалось не нарочно, не ради самоуважения, а естественным порядком. Или мыши. Дома были плюшевые мыши, весьма потертые, многожды заштопанные, но их не выбрасывали – ведь жалко! Плюшевая вещь имеет душу – и, сам того не замечая, Воронов привык надевать душой неодушевленное; даже теперь он мысленно разговаривал с машиной, собирающейся его сожрать. Как можно, думал Воронов, не пожалеть нищего или голодного, ведь всех жалко! – так почему же рядовой Пахарев, чапающий сейчас без усталости влево направо и справа налево, думает не о вороновской печальной участи, а о том, как бы это ему поспать поскорей. Или пожрать. Или все же поспать? Когда жрешь, сначала меньше хочется спать, а потом больше. Когда поспишь, меньше хочется жрать. Мир был придуман для рядового Пахарева, а Воронова в нем не должно быть, и тем, что он не сумел защитить себя, он как бы предал и мать, и сестру, и дядю с материнской стороны, ласкового врача, вечно возившегося с малолетними пациентами. Больничное начальство не раз указывало ему, что истинный врач-педагог обязан учить ребенка мужественно переносить боль и ни в коем случае не баловать обезболивающими, которые, между прочим, нужны на фронте, – а вороновский дядя регулярно лазил в НЗ за анальгетиками, за что и лишился в конце концов работы. Анальгетики предназначались генералитету, и дядя еще благодарил судьбу, что его не привлекли за диверсию. Он действительно не вписывался в образ варяжского врача, главной задачей которого было внушить пациенту стойкое отвращение к жизни: подробно описать, с какими унижениями будет сопряжена инвалидность, как трудно будет теперь обслужить себя, ничего вкусного отныне нельзя – чтобы пациент тем верней и радостней устремился навстречу смерти. Смерть от болезни, конечно, совсем не то, что на поле боя, но машине годилась и больная пища. Воронов не знал одного – что будет делать машина, когда всех съест. Но ведь она ела не всех. Когда останутся такие, как рядовой Пахарев, машина, вероятно, войдет в оптимальный режим существования и вообще перестанет жрать, а займется чем-то главным, – однако от одной мысли об этом главном вороновская душа отдергивалась и вообразить его не могла.

В это время загредел засов, и Воронов почувствовал, что ведь не сможет встать; какой позор, столько готовился, даже попрыгал, проверяя способность стоять на ногах, а теперь не поднимется. В сарай, нагнувшись, вошел высокий, тучный капитан-иерей. Воронову этот капитан казался приличным, добрым, он любил поговорить с солдатами – Воронову и в голову не могло прийти, что некоторые иереи говорят с солдатами не потому, что любят солдат, а потому, что любят поговорить.

– Вольно, вольно, – ласково сказал Плоскорылов, расправляя мокрую рясу и суя Воронову руку для поцелуя. – Зашел для прощальной беседы. Ныне искупавши, рядовой Воронов, вину свою и возвращаешься в ряды доблестных воинов. Считаю приятным долгом напутствовать и дать несколько советов. А что это мы лежим? – Плоскорылов говорил с родительской лаской, чувствуя, что эта нежность возбуждает его дополнительно. – Что это мы не хотим встать при виде старшего по званию, тем более духовному? Или мы кашки мало кушали? Встаньте, встаньте, рядовой Воронов, и укрепитесь духом. Или когда вас будут

расстреливать, – это слово Плоскорылов произнес особенно отчетливо, – вы тоже будете лежать? Перед вами будут стоять старшие по званию, а вы будете перед ними лежать, как принцесса какая-нибудь? Нет, дорогой Воронов, право лежать, как какая-нибудь принцесса, в присутствии старшего по званию покупается только смертью. Но пока этого не произошло, вы должны стоять, стоять. Возьмите себя в руки и встаньте, как истинный воин. Вот так. Хочу вам заметить, – ласково журчал Плоскорылов, поглаживая Воронова по плечу, – что мысли многих слабых духом – к числу коих вы, несомненно, относитесь – в последний миг обращаются вокруг того, как, собственно, все будет происходить. Я расскажу вам об этом в подробности, и вы сможете обратить свою мысль к спасению воинской чести. Вы будете выведены за околицу и установлены у края чистого русского поля. Чистое русское поле прекрасно на рассвете, и у вас будет возможность насладиться этим зрелищем. Чистое русское поле как бы скажет вам: я прощаю тебя, рядовой Воронов, и принимаю тебя в свое чистое русское лоно. Ради одного этого, рядовой Воронов, уже стоило родиться. Затем караульствующий над казнью произнесет непрременную формулу – «Упраздняется раб Божий рядовой такой-то, в нашем случае Воронов, за отшествие от воинския добродетели и глаголанье нечестивое». Я буду там, вы поцелуете мне руку в знак того, что прощены и готовы к искуплению. Я вас благословлю и сообразно законов воинской вежливости пожелаю доброго здоровья в такое прекрасное утро. Караульственный издаст команду «целься». У вас будет возможность попросить прощения у рядовых, поднятых ранее подъема для вашего искупления. Караульственный издаст команду «пли». После этого вы не сразу перестанете чувствовать себя, но испытаете как бы неприятность, легкое неудовольствие, возможно даже упадок сил. Возможно, вы испытаете далее боль, рядовой Воронов, хотя расстреливание есть самый гуманный вид искупления. Но вы заслужили боль, рядовой Воронов, и должны понимать, что вас расстреливают не просто так. Не каждого расстреливают, хотя в принципе каждый достоин. У вас будет время задуматься о том, что это конец и что вот, собственно, все. Я вам желаю и должен открыть святые тайны, рядовой Воронов. Святых тайн числом две. Тайна номер один заключается в том, что все происходит на самом деле, в чем некоторые сомневаются. Тайна номер два, она же главная, заключается в том, что истинная цель всякого истинного воина заключается в том, чтобы погибнуть, и путь воина есть путь гибели, а потому, рядовой Воронов, ваше главное предназначение исполнено. Генеральной целью русского офицерства и всего русского воинства является истребление русского солдатства и оставление достойнейших. Полагаю, вы не догадывались об этом, но поскольку вы все равно никому уже не расскажете, то можете теперь знать святые тайны.

Воронов ничего не понял.

– Вы, кажется, недослышите, рядовой Воронов? Я повторю вам громко и отдельно: поняли ли вы святые тайны? Прониклись ли вы их дивным благоуханием?

– Благоуханием, – повторил Воронов. Ему казалось, что повторение и есть утвердительный ответ.

– Но вы прониклись? – настойчиво переспрашивал Плоскорылов. – Мой долг сделать так, чтобы вы прониклись, и если вы не готовы, я могу потратить с вами сколько угодно своего времени. Я готов, у нас до утра еще полно. Поняли ли вы, как величественна роль русского воинства? Осознали ли вы, что завтра не только искупаете свою вину, но совершаете высшее свое предназначение? У армии нашей нет никакой иной цели, как только перевод солдата в совершенное состояние. Никто не должен просто жить, понятно вам сие, рядовой Воронов? Жизнь есть мерзостное существование, которое должно быть преодолено. Ни секунды комфорта подлomu телу с его низменными запросами, ни секунды напрасного лежания просто так! Солдат должен быть всегда занят, а всегда занят только мертвый солдат. Я поздравляю вас, рядовой Воронов, с тем, что завтра на рассвете вы станете идеальным солдатом!

Воронов тупо молчал.

– О чем вы думаете, рядовой Воронов? – вкрадчиво спросил капитан-иерей.

– Я думаю, товарищ капитан-иерей, – ответил Воронов так тихо, что за шумом дождя, шелестевшего по крыше сарая, Плоскорылов с трудом разобрал его слова, – я думаю, что вот я жил и ничего не сделал, и никому не мешал. И вдруг пришли вы и остальные ваши, и я уже должен где-то служить, а потом почему-то умирать. Я у вас ничего не брал, а теперь кругом вам должен. И этого я не понимаю, товарищ капитан-иерей.

– Вас мало расстрелять, рядовой Воронов! – воскликнул Плоскорылов, чувствуя, как все больше напрягается и горячет там, в паху. – Вас мало расстрелять! Вы и после этого ничего не поймете! Вы полагаете, ваша жалкая жизнь имеет какую-то ценность? Ценны вы будете, только когда умрете, рядовой Воронов! Цель каждого истинного воина есть смерть, она же начало истинной жизни, а сейчас вы еще никто, личинка! В мир смерти из вас вылетит прекрасная бабочка и полетит на ледяные цветы Валгаллы.

– Я не хочу на ледяные цветы, – тупо повторил Воронов. – Я не понимаю, почему вы должны решать, жить мне или нет.

– О, расслабленная южанами кровь, сгнившая раса! – воскликнул Плоскорылов, поднимая пухлые руки к сарайной крыше. – О разложение! Неужели вы думаете, что ваша жизнь самоценна? Ваша жизнь нужна только для того, чтобы ее скосил ледяной серп, и ничего лучшего с человеком случиться не может! Вы размножаться, может быть, хотите, рядовой Воронов? Вы и так уже настолько размножились, что страна не может вас прокормить! Вы должны не размножаться, а сокращаться до количества, потребного в свете высших нужд! И когда указанное сокращение произойдет, мы сможем приступить к великой арийской мистерии! Вы потомок ариев, рядовой Воронов, или кто?

– Я не знаю про ариев, – упрямо сказал Воронов. – Я потомок своих родителей, вот что я знаю. И я не знаю, почему я все время должен умирать.

– Потому что начальству виднее, что вы должны! – закричал Плоскорылов.

Воронов вел себя неправильно. Он должен был ползать, слюнявить ему руку или даже сапоги, как некогда Калинин. Он должен был бояться, и тогда Плоскорылов почувствовал бы то, что так любил и чего так стыдился. Когда рукой, это было совсем другое. А вот когда соборюемые целовали руку, это было то самое: с дрожью в спине, и даже словно легче становилось дышать. Воронов был совсем не похож на правильную жертву, он не годился на это, и руку целовал без чувства. Плоскорылов вышел под дождь, хлопнув дверью сарая, и рядовой Пахарев закрыл засов. Слышно было даже сквозь дождь, как звонко Пахарев чмокает капитан-иерейскую руку. Воронов остался один и почему-то вспомнил, что пряности у них в доме хранились в коробке из-под его детских ботинок. Он вспомнил кухню, вспомнил, как в теплом квадратном пространстве, под апельсиновым плафоном, среди холода и мрака ноябрьской ночи ждал возвращения матери с работы – она преподавала еще и во вторую смену, потому что надо было без отца тянуть их с сестрой. В ноябре ночь начиналась в пять, а в шесть делалась непроглядной. Сестры не было дома, гуляла с кавалером. Запоздало окно, по стеклу бежали слезы. Ключ врезался в замок, входила мать, мир обретал осмысленность. Все это было сном, и уже тогда будущий рядовой Воронов догадывался, что это сон. То, что происходит на самом деле, то, о чем говорится в святой тайне номер один, было дождем, сараем и рядовым Пахаревым, ходящим взад-вперед за дверью с единственной мыслью поспать или пожрать. И девятилетний Воронов, сидя на кухне и дожидаясь матери, догадывался об этой правде, от которой его лишь до времени защищала светлая кухонная коробка, не более надежная, чем коробка от ботинок, набитая пряностями и переписанными от руки домашними рецептами. В их доме рецепты передавались по наследству, их накопилось очень много, и никому они не были нужны, потому что все это отвлекало от смерти – главной задачи истинного жителя их страны. Воронов догадывался и об этом,

но умирать с этой мыслью ему не нравилось. Надо было найти какое-нибудь возражение, потому что коробка с пряностями и рецептами имела большее право на существование, чем сарай, засов, дождь, Пахарев и Плоскорылов. Мысль заключалась в том, что жизнеспособное не обязательно хорошо, это надо было как-то продумать, но продумать он не успел, потому что засов загремел опять. Быстро прошла ночь, подумал Воронов, но она совсем не прошла.

В сарай вошел незнакомый лысый человек в круглых очках. Знаков различия Воронов в темноте не видел.

– Чего, смерти ждешь? – спросил незнакомец. – Рано, рано. Есть у нас еще дома дела. На, выпей. – Он протянул Воронову фляжку. – Не бойся, не бойся, не яд. Мы не можем разбрасываться людьми, рядовой Воронов. Надеюсь, пережитое послужило для вас хорошим уроком. Слушайте меня внимательно, около-кокола!

В этот момент Воронов узнал вошедшего и понял, что сошел с ума. В сарай мог войти кто угодно, только не психолог, который в шестом классе московской средней школы семь лет назад тестировал детей по поручению Министерства образования. Тест был профориентационный, несложный – нарисовать без помощи циркуля кружок, решить уравнение второй степени и отгадать загадку. «Ехали охали, ухали хахали, бухали бахари, бахали бухари, – кто вышел?»

– Около-коколо, – уверенно сказал тогда очкастому инспектору шестиклассник Воронов. Почему-то он один на весь класс отгадал эту загадку, вычитанную, что ли, в детской книжке, – он сам не помнил, откуда ее знал, и уж давно не понимал смысла. Еще один мальчик из параллельного тоже знал ответ – и тоже не помнил откуда. Потом его отчислили. Воронов ничего о нем больше не слышал, да и инспектора не видал. Но внешность запомнил – не каждый день задают такие загадки.

3

Громов проснулся от слезной тоски, какой давно у него не бывало. Ему снились стихи, и этого тоже давно не было. Слава богу, чужие – «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...» Он полежал в темноте, постепенно вникая слухом в разные, но одинаково скучные звуки сельской ночи: тикали ходики, тоненько сопела хозяйка в своей комнате, постукивал дождь в окно, и страшно было подумать, что возможны какие-то стихи.

Когда-то он и сам их писал – это было в другой жизни, от которой за два года войны, а пожалуй, что и за три предвоенных ничего не осталось, кроме Маши и призрачной переписки с ней. Память о другой жизни была запрещена, все самосознание Громова свелось к крошечному пятячку мыслей о повседневности, о том, чтобы целы и сыты были солдаты, чтобы не озлилось лишний раз начальство, не бросили в бой, не отняли отпуска, – но в огромном темном поле его души и памяти шла своя разрушительная работа, какая происходит, может быть, в брошенном доме или, если уж мыслить в привычных ему теперь фронтовых терминах, в брошенной части, оставшейся глубоко в окружении. Армия ушла дальше и забыла об окруженцах, а они еще где-то бьются, прорываются к своим, посылают бессмысленные сообщения, пропадающие на полпути, потому что прерваны коммуникации, – и лучше не думать о том, как без пищи и подкрепления вымирает обреченный полк. Иногда оттуда доходят смутные, еле различимые сигналы – ты помнишь, в нашей бухте сонной... Громов совершенно забыл, о чем эти стихи. Он проснулся в слезах, но сам не сказал бы, о чем плачет. Дело было не в словах, не в стихах вообще, а в страшной, красно-черной спекшейся массе, в которую превратилась его довоенная жизнь, и в робких голосах, все еще доносившихся из подкорки, из-под корки.

Постой, ведь были еще ласточки. Стихи во сне как-то с ними связывались. Громов сел на лавке и закурил. С каждым глотком дыма мир обретал знакомые, успокоительно-мерзостные очертания. Все недостаточно отвратительное давно уже выводило его из себя, как бесит бархатный, бисером вышитый покров на гнойной ране. В громовском мозгу давно уже не было места сантиментам – смешон и гадок палач, плачущий над жертвой, да и жертва должна держать себя в руках; а поскольку в мире, кроме палачей и жертв, давно ничего не было, Громов раз навсегда, еще до войны, запретил себе всякую лирику. Отчего-то садисты всегда сентиментальны – это касалось не только немцев с их страстью к рождественским открыткам и песням про елочку, но и родных воинских начальников, и родной империи, с особенным наслаждением снимавшей нежнейшие детские мультики с добросердечными зайцами и верными долгу ежами. Наверняка тут был дополнительный оттенок мучительства – нарочно готовить детей к жизни в совершенно другом мире, с тем чтобы они тем больше хлопнулись мордой об истинную реальность. В тридцатые таких мультиков не делали, это началось в шестидесятые, когда на чугунную гирию стали натягивать резиновую маску человеческого лица. Громов ненавидел эту розовую резину. Он научился со временем различать те же потуги набросить расшитый покров на язву даже в цветении липы, даже в изумрудном сиянии листьев в фонарном луче – все служило прикрытием для отвратительного мушиного роения, жадного размножения и не менее жадной гнили.

Мир делился на гниль и сталь, и сталью был только долг – все, что Громов себе оставил; прочее врал, изворачивалось и сулило несбыточности, чтобы тем злораднее торжествовать на обломках очередной судьбы. Но телу нельзя было запретить радоваться, и оно радовалось обеду и привалу, хотело жить и не желало привыкать к повседневному риску; душа, лишенная всех прав и радостей, по ночам жила, как хотела, – и по ночам то приходили стихи, то вспоминалось что-то из детства, невыносимое, недопустимое, расслабляющее. Как теперь эти ласточки.

Ласточки прилетали два лета подряд, построили гнездо на дачной кухонной террасе, высиживали птенцов, Громов вместе с матерью наблюдал за птенцами и зарисовывал их, – а на третье лето к террасе приделали дверь; ласточки прилетели на прежнее место, но дверь их пугала, и они оставили гнездо. Где теперь эти ласточки? Где теперь перышки, косточки, пух – куда-то же все это делось, проклятая материя никуда не может исчезнуть, и атомы, из которых все это состояло, развеяны теперь где-то в мире, и эта мысль почему-то была страшнее всего. Если бы что-то исчезало бесследно, жизнь была бы возможна: бесследное исчезновение указывало бы на дырку, в которую, глядишь, как-то можно сбежать, просочиться отсюда. Но деваться было некуда, в замкнутом пространстве одна и та же материя переходила из гнили в плоть, из плоти в гниль – как в Антарктиде один и тот же снег переносится ветром с места на место, потому что нового почти не выпадает, а старому некуда деваться. На даче, наверное, тоже все сгнило. Громов запрещал себе помнить и дачу. Он сам не знал, откуда выползло воспоминание, из-под какого спуда прорвалась детская неутолимая тоска. Изгнать ее можно было только омерзением, и он жадно, как пьют пиво с похмелья, напивался окружающей гадостью: сырое, грязное белье, низкий потолок, шуршание в углу – мышь? тараканы? – посапывание хозяйки, дождь, размывающий бесконечные глинистые дороги за окном... Так в детстве, проснувшись среди ночи от страха смерти или от ужаса перед собственным «я», он сразу вспоминал о школе и успокаивался. Был такой страх, о котором он не мог рассказать родителям ничего внятного, главный ужас детства, особенно ужасный потому, что им ни с кем нельзя было поделиться: обо всех мы читаем в книгах или разговариваем с другими, но я – это я, и сейчас это я, и вот сейчас я. В каждую следующую секунду ужасное продолжалось, от него не было избавления. Любой кошмар можно вообразить и забыть, но от мысли, что все происходит именно с тобой, некуда было деваться. В этот ужас можно было провалиться, как в болото, и приходилось цепляться за школу, кото-

рую Громов ненавидел – ненавидел днем и любил ночью, потому что «я» было страшной школы. Мысль о даче тянула за собой ворох ненужных, запретных воспоминаний: запах нагретой смородины, клубничина с приставшим мелким песком, иногда с муравьиной розовой норкой; желтые облака на дождливом закате... Все это было где-то, не могло же исчезнуть, только клубника небось окончательно заросла; но во всем этом Громов видел теперь соблазн и обман, и ничего не хотел знать, кроме этой ночной избы, и завтрашнего серого дня, и никому не нужной войны, на которой он отдавал каким-то абстракциям бессмысленный, только бессмысленностью и оправданный долг. Все вещи, обладавшие прикладным значением, давно представлялись Громову мусором, а люди, служившие этим вещам, были хуже откровенных бездельников. В бездельнике, не желавшем трудиться даже под угрозой смерти, было что-то героическое, – он и Машу особенно любил за принципиальный отказ участвовать во всей этой имитации бурной деятельности. Перед войной, в сущности, уже никто не работал. Маша потому и не удерживалась ни на одной из своих работ, что везде занимались черт-те чем и получали за это последние, по сусекам доворованные деньги, – а ей с ее истовым отношением к любому делу это было не по нутру, и откуда-то она вылетала через неделю при первом же сокращении, а откуда-то на третий день уходила сама. Под конец она решила все ничего не делать и, что называется, гибнуть откровенно. Он застал ее в положении вовсе уж бедственном, хотя и его собственное было немногим лучше. Вся разница была в том, что Громов работал, он и тогда уже был одержим идеей дисциплины, – но искать работу, совместимую с самоуважением, было все трудней, и потому он с облегчением и радостью пошел на войну.

Он стал думать о Маше – единственном компромиссе между этой жизнью и собственной душой, которой он почти все запретил, кроме тоски по Маше и любви к ней. Это была странная любовь, Громов толком и не знал эту девушку и только поэтому любил уже четыре года, два из которых они почти не виделись. Что-то и он, видимо, для нее значил, – не только же за неимением лучшего приезжала она к нему, писала письма, держала в курсе своих неприятностей и перемещений. Машу можно было любить, потому что ее не было жалко. Ее нельзя было представить в унижении. Мир, конечно, в любой момент мог ее размолоть – но она была бы этому только рада. Машу, как и Громову в ее годы, а может, и больше, чем Громову, уязвляло все, и с такой силой, что к двадцати годам, когда она с ним встретилась, ее решительно ничем нельзя было обольстить. Она томилась в компаниях ровесников, с отвращением выслушивала разговоры, комплименты, признания, – и даже с Громовым позволяла себе только редкие встречи, всегда по собственной инициативе. Она не хотела привязываться, он не настаивал. Хотя именно такая свобода связывает сильнее всего – это, кажется, они оба поняли в последнюю ночь перед громовским призывом, когда она провожала его.

Познакомились они весной, за год до войны, на Тверском бульваре. Громов шел мимо Литинститута, к которому, слава богу, не имел отношения, – но все, кто что-нибудь писал и где-то выступал, знали друг друга, и его затащили в случайную компанию, уже порядочно охмелевшую от пива. Спешить ему было некуда, он сел к ним на лавку и стал участвовать в общем трепе ни о чем. Причина была, конечно, в Маше – без нее он сроду не вовлекся бы в эту бессмысленную попойку, каких в его молодости было много больше, чем надо. Машу он заметил сразу и долго потом изумлялся, что не все встречные мужчины падают к ее ногам. Больше того: на его счастье, не все и замечали ее красоту, казавшуюся ему идеальной. В ней все было крупно: большие зеленые глаза, прямой нос, рот с пухлыми, обветренными, никогда не накрашенными губами.

Она жила в Медведкове, у черта на рогах, в доме барачного типа. Дом построили годах в тридцатых, теперь он весь проваливался снизу и осыпался сверху, и, попав к ней в первый раз, Громов чуть с ума не сошел – настолько она не вписывалась в это желтое, двухэтаж-

ное, изрисованное матом убожество с вечно пьяными соседями и бесчисленной их родней. Как ни странно, количество этой родни, заселявшей в Машину коммуналку без спросу и документов, часами занимавшей кухню, ванную и сортир, добавляло соседям наглости: не то чтобы они чувствовали свою неправоту и вину за причиняемые неудобства – напротив, родня придавала им силы; и хотя в Москве они были точно такими же приживалами, как Маша с матерью, в самой своей многочисленности они видели залог успеха, заранее празднуя триумф грядущего завоевания. Необычайно трогательна была взаимная любовь всех этих людей: приезжал брат Коля, долго сидел с братом Мишей на кухне, они тепло смотрели друг на друга, не произнося ни слова – так только, изредка урчание или междометие. Громов нарочно три раза кряду, с получасовыми интервалами, выходил на кухню – якобы вымыть чашку, взять банку варенья – и всякий раз видел одну и ту же картину: сидели друг напротив друга не шевелясь, только в бутылке убывало. «Брат! – гордо кивал сосед на гостя. – Коля!» Коля лучился, как самовар. Его жена, беременная, желто-коричневая, в ситцевом халате, почему-то все время попадалась Громову в коридоре, ее было не обойти, она с горделивой нежностью показывала глазами на свой живот. Они не дрались, не скандалили, но эта молчаливая, полная до краев взаимная нежность была еще хуже беспрерывных драк соседней сверху, которые то и дело ломались к Маше и ее матери – самым незащищенным существам во всем подъезде. Когда однажды Маша отпихнула пьяного соседа и захлопнула дверь перед его носом, он пошел в милицию, заявил, что она его избивала, – и милиция долго приходила, разбиралась, допрашивала, проверяла документы; Громов приехал в разгар разбирательства по звонку Маши. Она сидела у стола вся белая и показывала свои документы, договоры, обтерханные справочки, мать с сердечным приступом лежала в постели. Появление Громова ничего не изменило, да и не было у него никакого документа, способного перепугать мента. Пьяная сволочь наверху все это время буянила, и хоть бы кто бровью повел.

В ванне было шершавое дно, прямо над ней ржавчиной капала труба, и по стене, повторяя изгиб трещины, змеился рыжий потек. Над ванной висели бесчисленные черные ситцевые трусы, халаты, тренировочные штаны. Под сенью всего этого березового ситца Громову приходилось отмокать, вода была чуть теплая – плохо работала газовая колонка, с которой ни Маша, ни мать, ни Громов не умели толком сладить. Через десять минут в дверь начинали колотить соседи. Когда Машина мать вернулась с дачи, куда уехала бебиситером с умеренно новорусским семейством, впоследствии разорившимся и отказавшимся от ее услуг, соседи долго ей пеняли, что у дочери ночует чужой человек. Они боялись, что Громов на кухне жрет их соленья – закатки, как называлось это на их языке. Сами они щедро угощали консервами, но постоянно подозревали, что этих добровольных даяний Громову и Маше мало, непременно по ночам еще жрут, подлецы. Делать им больше было нечего по ночам.

Эти ночи Громов вспоминал с чувством счастья, тем более острого, что рядом все время ощущались теплые братья, дружные с милицией алкоголики и подростковые банды из окрестных пятиэтажек, оравшие до трех часов утра. Из открытых окон тянуло сиренью, влажной землей, дождем, счастье ютилось на крошечном пятячке, осажденное со всех сторон и доведенное до невообразимой насыщенности. «Соскучилась, соскучилась», – бормотала Маша, тычась в него, и душа Громова выла, когда он вспоминал, что ее дом снесли в первые же дни после ее нелепой, скоропалительной эвакуации. Она никогда ничего не боялась, а тут испугалась – потому, вероятно, что давно ждала конца света, и когда война наконец началась, немедленно увидела в ней знак последних времен. У ее матери была какая-то родня на Северном Кавказе. Туда они и побежали, как многие в первый месяц побежали из Москвы – а потом вернулись, поняв, что Москве-то ничего не угрожает: Громов знал из несчастных родительских писем и фальшиво-бодрых газет, что Москва живет обычной жизнью, и если газеты наверняка врал, то родителям это было без надобности. А Маша уехала

все-таки снова, и не могла теперь вернуться, потому что занесло ее далеко, да и дом сгорел, подожженный верхними алкашами, – словно только она и хранила его.

Обычно Громов шел к ней дворами, мимо странного красного здания за бетонным забором; Маша жила тут шестой год, но что делается за этим забором – понятия не имела. Как-то он предложил ей влезть в пролом, сам протиснулся следом – и тайна раскрылась, как раскрывались в последнее время все тайны: обнажилось гнойное скрытое безобразие. Там был интернат для детей с врожденными уродствами; не успели они войти во двор красного здания, как невесть откуда выбежали на них эти страшные дети – все в одинаковых синих свитерках, кто с соплей под носом, кто с бессмысленно открытым ртом, кто с заячьей губой, и еще, еще какие-то, совсем уж дикие; окружили их кольцом, задирали головы, мычали и домогались любви. Так встречали тут любого посетителя. Маша пошатнулась и, верно, рухнула бы, если б он ее не подхватил.

Почему они не поженились? И мысли такой не было. Сам этот вопрос казался кощунством. Как можно было жениться, когда все кончается? Оба жили с этим чувством и не ошиблись, как показала война. Любовники в гибнущих Помпеях – красиво, но брачная церемония под пеплом... Громов жил один, снимал комнату неподалеку от родительской квартиры, и привести Машу было куда, но жить с Машей? Заставлять Машу хозяйствовать? Просто притираться друг к другу, как делали до них бесчисленные пары? Он и теперь хотел поехать к ней, добивался отпуска только ради нее, а вовсе не ради родителей, которых вообще намеревался миновать, чтобы не травить душу себе и им: в конце концов, из Баскакова до Махачкалы можно было добраться и мимо Москвы. Но приехать в отпуск – совсем не то, что жить вместе. Она могла брезгливо, почти презрительно брать у него деньги – он понимал эту детскую самозащиту, – но жить с ним не смогла бы никогда, и сам он не пошел бы на это. В браке было что-то недостойное их обоих. Тут стиль был другой – короткие встречи. Жить рядом и притираться значило бы врать, а Маша настолько не совмещалась ни с какой ложью, что после одной его неверной интонации, случалось, отнимала руку, а то и вовсе сбегала со свидания. И ему в голову не приходило сердиться на это – тем более, что свое он обычно успевал получить. Иному пошляку показалось бы, что дело тут известно в чем, а остальное – так, бесплатное приложение; но пошлость потому и пошлость, что всегда останавливается, не доскребаясь до дна и довольствуясь половинчатостью. Да, пусть дело было только в этом, – но ведь и это было так нужно обоим потому, что здесь была правда, а все остальное неправда; эта неправда была даже в них, когда они делали вид, что продолжается обычная жизнь, в которой можно разговаривать, обмениваться новостями, рассказывать о подругах. Ложью не были их редкие выходы в кафе «Маки» – когда были деньги, Маша любила есть, ела много и с наслаждением, не стесняясь этого, и он всегда любовался ею. По тому, как она ест, или выбирает одежду, когда опять-таки случались деньги, или чинит ему рубашку, когда рвалась, – видно было, как она могла бы жить, если бы нашлось где и на что. «Где» – конечно, не в мерзком квартирном, а в более широком смысле: в мире, который не умирает каждую секунду, а если и умирает, то хотя бы чуть достойнее. Все, за что бралась, она делала хорошо и потому почти ни за что не бралась: хорошее тут было не только не нужно – оно ускоряло гибель этого мира, потому что вырывалось из его рамок, рвало истончившуюся ткань, и чем хуже было все, что предлагалось, тем горячее оно приветствовалось, ибо затягивало агонию, длило полужизнь.

Она любила одеваться красиво и ненавидела одеваться по средствам; она предпочитала обходиться вовсе без денег, чем довольствоваться небольшими и вдобавок доставшимися с бою. Другие об этом разглагольствовали, не брезгуя повторением избитостей про «все или ничего», – она так жила, как жила бы королева в изгнании, по древнему кодексу королев не имеющая права пить морковный кофе, если нет настоящего, и потому пьющая по утрам холодную воду – разумеется, из последней чашки, уцелевшей от фамильного сер-

виза. Он рассказывал ей эту историю и удостоился молчаливой улыбки. Маша вообще говорила мало. Может быть, тогдашний Громов, еще не закалившийся до последней стойкости, и поругивал ее за это презрение ко всем и всему – он толком не помнил сейчас, и пару раз отчитал ее вслух; кажется, вслух. Да, на Воробьевых горах. Она не убежала тогда и даже не обиделась – вероятно, потому, что сердился он по-настоящему: да, это был настоящий гнев настоящего, никем не притворяющегося получеловека, каждодневно ходящего на работу и видящего в этой никому не нужной каторге особую заслугу. А ты не делаешь ничего и еще кочевряжишься! Он тогда в первый раз купил ей брюки, без ее ведома, в порядке сюрприза, – она довольно резко отказалась их взять, сказав, что не одевается на рынках. Ну ты подумай! Ничего не делает и не одевается на рынках! Он принялся издеваться, а она с неожиданной серьезностью начала оправдываться: пойми, я не могу в этом... лучше совсем никак... Он быстро успокоился, поняв, что совсем никак – в ее случае действительно было лучше: на такую наготу надевать блошинные тряпки... Брюки эти он выбросил за парашют смотровой площадки – и тут же к пакету поспешил пьяненький бомж, штатный местный васька, подбравший бутылки на склоне. Бутылок было много, но неформатные, шампанские, – в пунктах приема их брали неохотно; перед войной вообще стало очень много пунктов приема вторсырья – так умирающий обирается, собирается перед смертью, шарит по одеялу, по рубашке, словно подводя жалкий итог: вот я с чем остался. Васьки в основном и жили сбором вторсырья, и сами были таким вторсырьем, которое перед самой войной тоже начали куда-то собирать, – они вдруг исчезли из города: одни сбежали, других переловили. Громов и тогда, на Воробьевке, с ужасом сказал ей что-то про человеческое вторсырье, про то, как больше всего боится стать им.

– Нет, – решительно сказала она, – это как раз самый первый сорт.

– В смысле?

– Абсолютная чистота порядка. Только эти не врут.

– А я?

– Ты врешь иногда. Мы все врем. Не сердись, – прибавила она. – Знаешь, как в Индии с кастами обстояло на самом деле? Их было три. Жрецы, воины и все остальные. Все остальные заботятся о нуждах низкой жизни. Потом купцы и торговцы всяким рисом сбросились и внесли коррективы. И каст стало четыре: жрецы, воины, просто люди и неприкасаемые. Им было, вишь ты, запахло в одной касте с нищими. В каком-то смысле это справедливо. Представление о жизни имеют жрецы, воины и нищие. Все остальные врут. Фальшиво звучит, но чес-слово, так оно и есть.

Она и здесь больше всего заботилась о том, чтобы не звучать фальшиво.

Тогда он причислял себя к жрецам, потому что марал бумагу и пытался разобраться в происходящем; потом понял, что пора записываться в воины. Не то чтобы Громов разочаровался в своих жреческих данных: кое-что он понимал и умел, но время было не жреческое. В Помпеях не гадают по звездам: пелена опустилась, и звезд уже не было видно.

Перед войной настолько не было смысла ни в какой деятельности, что все, у кого был доступ к компьютерам, либо писали бесконечные и бессмысленные ЖД, либо раскладывали пасьянсы. Живой дневник был Громову не нужен – он вообще не понимал, к чему исповедоваться на публику, – а пасьянсов разложил великое множество. Все – и он со всеми – словно спрашивали ответа, что будет, но ответ каждый раз выходил разный. Перед войной в воздухе бродили и сталкивались почти видимые, скользкие, туманные сущности, из которых вот-вот должно было оформиться конкретное – но все никак не оформлялось; ясно было, что на глазах свершается поворот в сторону чего-то жалкого и грозного, кровавого, но страшно неумелого, такого же половинчатого и пошлого, как палач-недоучка. Ясно было, что на полноценный террор не хватит ни времени, ни сил, а тот, который получится, будет смешон и жертвам, и исполнителям – так и будут хохотать, глядя друг другу в глаза у пресловутой стенки; роли

были расписаны, но актерам давно надоели, и притом эти актеры не знали никаких других. Надо было или ломать театр, или срочно тренировать в себе святую ярость. И для того, и для другого лучше всего годилась война. Не учли только, что и война будет соответствующая – выродившаяся: ярость нарастала, театр разваливался, а гниль никуда не девалась. Громов знал, что должен доиграть эту пьесу, и доигрывал честно – с тем же чувством, с каким актер в проваливающемся спектакле раз за разом честно повторяет «кушать подано», отлично видя, что премьер пьян, трагик забыл текст, суфлер сбежал еще позавчера, а зрители постепенно, с нагловатой застенчивостью разворовывают бархатные портьеры и обдирают кресла. Роль была простая: встать, сесть, правое плечо вперед, в случае чего умереть по команде или в порядке проявления разумной инициативы.

Маша писала ему из Махачкалы скупно – прямым, мелким, плотным почерком; жизнь там, судя по всему, была несладкая. Она несколько раз ездила туда девочкой и неплохо уживалась с дагестанской родней, местное население относилось к русским с легким презрением, но впрямую пока не нападало, и даже работа была – какая-то канцелярщина, связанная с прижизненным увековечением местного князька. Мать уже не работала, трудно переносила жару, расклеилась, и Маше пришлось браться за эту поденщину, хотя если бы речь шла о ее личном выживании – она ни за какие лукумы и дыни не притронулась бы к редакции поэмы «Сорок поучений кочевника домоседу» и умерла бы с голоду, улыбаясь. Громов с первого взгляда, с первого ее слова знал, что она найдет в себе силы улыбаться в последнюю минуту. Ненадежная в простейших обязанностях, в выполнении пустячных и суетных поручений, она была непробиваемо надежна в главном, и сколь бы ни было трудно жить с ней – умирать лучше всего было в ее спокойном и дисциплинирующем присутствии.

Постукивало, сопело, тикало. Он стал вспоминать Машу, вызывать ее в тысячный раз, понимая, что при встрече все будет другим и сама она, наверное, другая. Единственный раз прислала фотографию, которую он тут же порвал, – фотография была компромиссом, а компромиссы они ненавидели. Она посмуглела, сильно похудела, снималась в ситцевом цветастом халате. Снимок был блеклый, словно выцветший от жары. Волосы – как всегда, коротко остриженные – выгорели, стала заметней складка у рта, а выражение лица он хорошо знал: ну, посмотрим, что вы все еще придумаете.

Он помнил ее на Тверском бульваре, в шерстяной красной кофте в белую полоску; помнил, как среди долгого, бессмысленного, полупьяного спора – о судьбах и перспективах, разумеется, – она вдруг подошла к нему сама, резко потянула за руку и сказала: «Пошли», и судьбы с перспективами перестали что-либо значить. Помнил ее напряженные ноги и спину, когда она стремительно задергивала занавески на окнах. Помнил ее исчезновения на рассвете, бесшумные, без прощальных поцелуев и тем более записок: иногда он просыпался, но не подавал виду. Помнил весь ее гардероб – очень хороший и очень небольшой. Когда она уходила, сразу становилось невозможно поверить, что она существует, и он еле мог дождаться вечера. Иногда она пропадала на неделю, однажды даже на месяц – и, появляясь, скупно и хмуро признавалась, что опять попробовала жить без него, без всех, но на этот раз еще не смогла; когда-нибудь сможет непременно. Этого он боялся больше всего, хотя и готовился подспудно именно к такому исходу: однажды вдруг выяснится, что ее просто не было. Она слишком была сделана по его мерке, чтобы такое совпадение могло быть правдой. Ему нравилось ее угрюмое немногословие, ее нелюдимость, избавлявшая его от мелочной ревности, до конца все равно не исчезающей, но хоть не такой острой, как в первые дни; нравился низкий голос с переливом, хотя музыкальность его она всячески прятала и никогда не пела при нем – потому что серьезно занималась пением лет до пятнадцати и бросила, а все, что бросала, – бросала бесповоротно; нравилось, как она нехотя, не сразу, глухо сопротивляясь, забывалась рядом с ним, ослабляла защиту, начинала смеяться, а во сне, когда не могла запретить себе, все-таки прижималась к нему. Он вспомнил все это опять и понял, что

спать больше не будет. К утру, может, сон и вернется, но сейчас было только три. Громов натянул сапоги и отправился проверять посты.

Он все еще не верил, что уедет. Может, тоскливый сон и был выражением тайной тревоги – Громов не признавался в ней даже себе, но так до конца и не выучился самурайскому равнодушию. Он научился ходить в атаку, почти не думая о смерти, – да и атаки были так омерзительны, что смерть представлялась чуть ли не избавлением; однако легко относиться к отмене отпуска и сопутствующим издевательствам не мог до сих пор. Набор местных воинских добродетелей образовывал кодекс пожестьче самурайского – требования подобрались взаимоисключающие и потому невыполнимые; самурай мог бравировать презрением к смерти, ибо утешался величием собственной личности, обожествлял честь и никому не позволял обходиться с собой, как с собакой. Если забывался феодал – самурай мог снести башку и феодалу, предупредив сквозь зубы: «Господин, я исполнен решимости». Местному солдату и младшему офицеру вменялось в обязанность рисковать собой, презирать опасность и быть при этом готовым к любой выволочке от начальства – вероятно, таким образом солдата приучали не бояться противника, потому что неизвестно еще, кто страшней. Противник был зол, коварен, хитер, но расстреливал пленных куда реже, чем свои своих. Солдаты не сдавались толпами только потому, что после этого родне, оставшейся в тылу, был один путь – в лагерь; если бы у этой армии не было заложников, никто уже не поднял бы ее в бой. Некоторые горячие головы из партии «Легион доблести», покрывшей всю Россию сетью молодежных тренировочных лагерей, где устраивались языческие игрища в честь громовержца нашего Перуна, вообще предлагали универсальную программу: призывника – в армию, а всех родственников – в лагерь. Призывник плохо служит – удвоить родственникам норму выработки и срезать пайку, призывник перебежал – расстрелять, а лучше повесить перед строем. Население поделилось бы на тех, кто воюет, и тех, кто сидит, с небольшой верхушечной надстроечкой из тех, кто регулирует потоки. Три касты: жрецы, воины и ээки. Непонятно было, правда, куда девать бездетных – некого призвать и соответственно не за что сажать: разве на сельхозработы... или сразу в расход, чтоб не жрали лишнего. Один русский витязь из одноименного блока, спецназовец, мастерски раскалывавший на трибуне кирпичи, серьезно предлагал расстреливать за бездетность: саботаж роста славянского населения! пособничество азиатам! Потом, когда испарилась исламская опасность, бездетность стали приравнивать к пособничеству Европе, которая и сама вымирала быстрее России.

Громов знал, что долг повелевает ему служить, но знал и то, что выслушивать бесконечные нотации и терпеть позорные выволочки никак не входит в его обязанности. Здрок обожал отпустить офицера и вернуть его с порога: постой, постой, я не все твои документы видел. Это что? Это что, я спрашиваю вас, товарищ капитан?! Я вижу, что это членская книжка добровольного спортивного общества «Буревестник», но я спрашиваю вас, почему у вас не плочены взносы с января месяца?! Вы боевой офицер, вы, может быть, за ребенка нас всех тут считаете? Кррругом, я вам объявляю взыскание, и отпуск ваш вы будете иметь в дежурствах по части! В дежурствах по части вы будете его проводить, товарищ ка-пи-танн, нерадиво относящийся к своим обязанностям члена! И офицер заступал дежурным, и еще три недели его имя полоскали на ежеутренних собраниях, которые давно уже из одних этих полосканий и состояли.

Громов проверил промокшего солдатика у склада боеприпасов – в случае нападения такого солдатика хватило бы только на то, чтобы крикнуть по-заячьи, – осмотрел пост у продсклада и направился к штрафному барaku на окраине Баскакова, когда заметил, что его уже кто-то опередил. Около барака, поблескивая мокрой лысиной, стоял Гуров.

– А, капитан, – сказал он устало. – Чего не спится, капитан? Боишься в отпуск не уехать?

Громов пожал плечами.

– Уедешь, уедешь, – рассеянно сказал Гуров. – Ты москвич сам-то?

– Да.

– К родителям поедешь?

– Никак нет, товарищ инспектор. В Махачкалу, к невесте.

– В Махачкалу? Дело хорошее. Кстати, это... – Гуров неожиданно посмотрел на Громова с интересом. – Ты в Москву-то заезжай все-таки, а? Как? Я тебе лишних деньков пять нарисую. Тебя прямо Бог принес. Дело к тебе будет, милый. Ты это, – обернулся Гуров к часовому, – иди валяй. Можешь быть свободен.

– Оставление поста, товарищ инспектор, – робко начал часовой.

– Р-разговорчики! – тонко прикрикнул Гуров. – Совсем оборзели, с инспектором седьмой степени пререкаются! Фамилия!

– Пахарев, – обиженно сказал часовой.

– Трындите много, рядовой Пахарев! Вы будете у меня пять, шесть, пятнадцать караулов подряд вне всяких очередей ходить! К вам из Москвы приехал хер моржовый или кто? Я спрашиваю вас: я хер моржовый?!

– Никак нет, – испугался Пахарев.

– Слава тебе господи, признал. Не хер я. А может быть, товарищ рядовой, я ваш боевой товарищ? По соседству сплю, во сне пержу? Я, может быть, ваш сосед по казарме? Смирно стоять, не расслабляться! – громче прежнего заорал Гуров, да так, что Громов машинально вытянулся и расправил плечи. – Я, может быть, вам солдатская мать или баба ваша, что вы можете тут панибратство разводить? Отвечать, когда спрашивает инспектор шестой ступени!

– Никак нет, – пролепетал рядовой.

– Кру-гом! Кру-гом! Кру-гом! К бою! Лег, отжался! (Пахарев плюхнулся в грязь.) Еще отжался! По-пластунски в караульное помещение ползком шагом марш! На брюхе, падла! Увижу, что встал, сука, – будете у меня сейчас окоп отрывать полного профиля, рядовой Пахарев! Отдыхать, бля! Отбиваться ползи!

Пахарев, смешно задирая тощий зад, пополз под дождем в сторону караулки.

– Пополз, чмо варяжское, – непонятно выругался Гуров. – Ты, капитан, тоже чмо варяжское, ты в курсах?

– Никак нет, – сказал Громов. – Во-первых, товарищ инспектор, я не чмо, во-вторых, не варяжское, а в-третьих, я вам не рядовой Пахарев, который от инспекторского крика обсирается. Я боевой офицер и на вас, крысу московскую, кладу. Внятно ли я выразился, товарищ инспектор?

Если бы ему не приснились стихи и не вспомнилась Маша, он бы, конечно, не сказал ничего подобного, но после мыслей о Маше терпеть гуровское хамство не мог ни в коем случае. Его внезапно подхватила и понесла та же волна, которую он знал по атакам. Громов сейчас не боялся ничего, вдобавок он оскорблял Гурова без свидетелей, и пойдя что докажи. Инспектор инспектором, однако пробрасываться боевыми офицерами в штабе явно не были готовы. А хоть бы и были, Громова это сейчас в самом деле не волновало.

Гуров посмотрел на него с любопытством, еще более живым, чем прежде.

– Молодец, капитан, – сказал он с улыбкой. – Достойный ответ боевого офицера. Инспектор проверяет как? Инспектор проверяет разнообразно. Солдат, который не подчиняется, есть плохой солдат, говно солдат. Но офицер, который позволяет на себя твякаться хоть бы и инспектору, есть плохой офицер, дрисня офицер. Заслужил себе пять суток к отпуску, заслужил. Инспекторская проверка – такое дело, не всякий и поймет. Ты мне скажи-ка, некое на голубу дорого возбить оболоч?

– Как? – переспросил Громов.

– Я тебе айно аю, расколоть переголяк ли ай за крыльцо перетоптать? – строго спросил Гуров, и Громов, кажется, узнал звуки той речи, которая долетала до него в Дегунине, пока он спал в Галиной избе. – Черешень заступ колубал, ай чекуляку гордубал? Аю ты ни упороса не продавишь, ни сумерек не разломишь?

– Не понял, товарищ инспектор, – пробормотал Громов.

– Добре, – сказал инспектор. – А то, знаешь, доверяй, но проверяй. Мне именно такого, как ты, в данную минуту и нужно. Варяг, как есть варяг, достойный сын Одина, только с легкой человечинкой. Примесь какая-то была, нет? У тебя есть примесь, капитан?

– Не понял, товарищ инспектор.

Громов пристально посмотрел на Гурова. Он явно был пьян и говорил как пьяный, но спиртным от него не пахло.

– Не понял – и не надо. Не всем понятливыми быть, верно? Зачем в армии столько инспекторов? Слушай меня теперь внимательно. Я выведу сейчас отсюда рядового Воронова, которого по моему личному – ты понял? личному! – приказу майор Евдокимов приуговлял к специальному боевому заданию. Ты возьмешь рядового Воронова и двинешься с ним в сторону Блатска, что на московском направлении. Далее в деревню Колосово, Плехотского района, это пятнадцати километрах к северу. Не записывай, я инструкцию распечатал, Воронову лично вручу. И там, ежели Воронов все сделает, как надо, ты его возьмешь под мышку и в Москву доставишь к его родителям. После чего действуй по собственному распоряжению, никто тебе не препятствует. Хорошо меня понял?

– Так точно, – ответил ничего не понявший Громов.

– Но учти, – сказал Гуров тихо и чрезвычайно серьезно, – Ты помни, капитан, такую вещь. Вы должны быть в Колосове быстро, понял? Вам надо послезавтра там быть кровь из носу, не то поздно будет, капитан. Тогда и Воронов никакой ничего не сделает, если вы там не будете двадцать первого. Поезд туда сутки идет, должны успеть. Должны, Громов, понял ты меня? Встретится тебе там, Громов, вот этот мужчина с девушкой, – Гуров достал фотографию и навел на нее карманный фонарик. Фотографию он держал бережно, прикрывая рукавом, чтобы не намочла. – Ближе рассматривай, не стесняйся. И теперь, Громов, особо внимательно меня слушай, потому что я тебе задание даю. Тебе конкретно, понял меня? Воронова сопроводить – это так, не по делу, ты мне головой, конечно, отвечаешь за Воронова, но это все так. А это уже не так, а суть. Если Воронов придет к тебе и скажет, что извини, мол, товарищ капитан, но никак – ты должен будешь этого мужчину и эту девушку застрелить на месте, понял меня?

– Никак нет, – сказал Громов. – Я вас не понял, товарищ инспектор седьмой ступени, и расстрелами мирного населения, как боевой офицер, заниматься не буду.

– Будешь, капитан, – сказал Гуров. – Обязательно будешь, иначе в Жадруново пойдешь. Слышал про Жадруново? Макар телят туда не гонял, куда ты пойдешь.

Гуров стоял очень близко, и Громов прямо перед собой видел его круглые очки, круглые маленькие глаза за ними и блестящую лысину.

– Я тебе приказ на бланке сделаю и к ордену представлю, и будешь у меня в масле кататься. А если не сделаешь, я тебя, Громов, под землей найду и за яйца повешу, понял меня, капитан? И невесту твою найду в ее Махачкале, хотя и не будет к тому времени никакой Махачкалы. Или ты не знаешь меня, капитан? Не слышал про инспектора Гурова? Ответа не слышу!

– Я по штатским не стреляю, товарищ инспектор, – повторил Громов.

– Ты присягу давал? – спросил Гуров и вдруг подобрался, с доверительного полусшепота перейдя на командный голос. – Капитан Громов! Слушайте приказ: в деревне Колосово обнаружить данного мужчину и его спутницу и по сигналу рядового Воронова уничтожить объекты. Приказ ясен?

– Так точно, – ответил Громов.

– Выполнять. Сейчас возьмешь Воронова и с ним немедля отбудешь на станцию. Машину дам мою. Первый поезд на Блатск – в шесть пятьдесят три. Стой здесь, жди.

На секунду он умолк, глядя в землю. Дождь усилился.

– Мало нас, вот что, – сказал Гуров. – Очень мало, пять процентов. Кабы чуть побольше, так и без тебя бы обошлись. Ну да ладно. Я не говорил, ты не слышал.

Гуров вошел в барак. Громов стоял под дождем, не понимая, снится ему все это или происходит на самом деле. Через пять минут Гуров вышел с высоким, тощим и взлохмаченным рядовым. Ремня на рядовом не было. Гуров вручил ему мешок:

– Тут все. На станции оденешься. Документы все на тебя выписаны. Потом останешься в Москве, сиди и не рыпайся. Если в Колосове у тебя не выйдет, доложишься ему, – Гуров кивнул на Громова. – Он тебе во всем первая защита. Ну, алатырь на поступь.

– Доломянем на приступок, – ответил рядовой. – Здравия желаю, товарищ капитан.

– Машина моя у штаба, – сказал Гуров. – Оба марш туда, я сейчас шофера пришлю.

Громов и Воронов медленно направились под дождем к штабу.

– Меня вообще-то Алексеем зовут, – сказал Воронов. Он, кажется, все еще не очухался от внезапного спасения и теперь в избытке счастья готов был фамильярничать со старшим по званию.

– Вас вообще-то зовут рядовой Воронов, – сказал Громов, – и будьте любезны вести себя по уставу.

4

Поезд стоял на станции Баскаково две минуты. Вагон был пустой, только несколько мешочников нахохлились на желтых деревянных лавках, прижав к себе жалкий скарб, словно обернувшись вокруг него.

Воронову очень хотелось разговаривать. Он только что чудесно спасся и все еще не мог прийти в себя от радости. Громов смотрел на него брезгливо, хотя в душе и понимал, что парня, чуть не расстреляли без вины, а потому предьявлять к нему претензии жестоко.

– А вы сами москвич, товарищ капитан? – спросил Воронов.

Громов хотел отрезать, что это не его рядовое дело, но вместо этого сухо кивнул.

– Я в Москве уже полгода не был, – мечтательно сказал Воронов. – Мать не видел, девушку не видел... – Ему казалось, что упоминание о девушке разжалобит сурового капитана. Человек, у которого есть девушка, все-таки уже не выглядит полным ничтожеством.

Громов молчал. Он не понимал, почему должен тащить с собой в давно вымечтанный отпуск болтливую труса, да вдобавок с заездом в Блатск, где он вовсе не планировал задерживаться.

– Я сейчас заткнусь, товарищ капитан, – радостно сказал Воронов. – Мне просто, понимаете... я сейчас видел очень хорошего человека. Я и не знал, что такие бывают. А после этого в первое время, сами знаете, очень трудно опять думать, что все кругом вот такие, – он постучал по спинке сиденья. – Ну и разговариваешь, хотя нельзя. Я же понимаю, вы тоже не вот такой. Так что можно бы и сказать какое-нибудь человеческое слово.

Громов опешил от этой наглости и посмотрел на Воронова молча, в упор, как он хорошо умел. Это был натренированный командирский взгляд, но Воронов не отводил глаз, словно пребывание в соседстве смерти навеки отбило у него страх перед земным начальством. По первому году боев – когда, собственно, еще бывали бои – Громов знал эту солдатскую храбрость. По большому счету командовать можно было только необстрелянными –

обстрелянные не боялись крика и уважали только компетентность. Поэтому Громов не стал кричать на Воронова, а сказал:

– Видите ли, рядовой Воронов. Человек, которого чуть не убили, еще не герой. Это вам понятно? Если бы вы побывали в бою, я бы мог с вами разговаривать по-человечески. А пока мне ваши подвиги неизвестны. Пока весь ваш подвиг – в том, что вы зачем-то нужны инспектору Гурову. А инспектор Гуров для меня – только старший по званию, не более того.

– Я понимаю, понимаю, – с готовностью закивал рядовой. – Я никакой не герой, точно. Но ведь с человеком иногда можно поговорить просто так, нет? Или вы только с героями?

– С человеком на фронте говорят так: смирно, вольно, разойдись, – отдельно произнес Громов. – С солдатом – другое дело. Но вы мне еще ничем не доказали, что вы солдат. То, что на вас форма, вас солдатом не делает. Понятно я говорю?

– Так точно, – тускло сказал Воронов.

Радость его словно выцвела. Вероятно, ему казалось, что человек, с которым Гуров отправил его в Блатск, тоже должен быть чем-то сродни Гурову, родной, нормальный и правильный. Но, наверное, такого человека у Гурова не было, и он просто выбрал случайного офицера, шедшего мимо, – не зверя, но и не живую душу; просто хорошо работающую машину, редкую среди ржавых и плохо смазанных машин варяжского войска.

Поезд тронулся, скрипучий и дребезжащий, как всякая варяжская машина. Медленно светало. За окном тянулись провода в каплях: плавный подъем – плавный спуск... кусты, овраги, длинная серая река с песчаными отмелями...

– Разрешите отлучиться в тамбур с целью перекурить, – попросился Воронов.

Громов окинул его с ног до головы.

– Ремень поправьте. И пилотку. Гражданские смотрят. Воронов вышел к тамбур и уперся лбом в стекло. Курева у него не было, ему хотелось побыть одному с проплывающими кустами и реками.

Не одна в поле дороженька,
Не одна самодельная... –

не запел даже, а заговорил он почти про себя. Дымящий в тамбуре мужик, черноволосый, заросший бородой по глаза, поглядел на него с подозрением, и дальше Воронов пел любимую дорожную песню только про себя. Он сам не знал, откуда взял ее, – наверное, услышал по телевизору, в старом фильме, где тоже все ехали мимо серых пейзажей в медленном поезде, и еще мальчишки махали проезжающим из оврага.

Не одна в поле дороженька,
Не одна беспредельная.
Не одна в поле дороженька,
Не одна самокатная,
Не одна в поле дороженька,
Не одна сырмятная...

Часть вторая Каганат

Глава первая

1

Просыпаясь утром и глядя на Женьку, лежавшую всегда на спине, ровно, прямо, в том абсолютном покое, в каком никогда нельзя было ее застать днем, Волохов думал: почему умереть не сейчас? Смерть давно постоянным фоном входила в его мысли – то ли было вино- вато предчувствие войны, до которой оставалось тогда полтора года, то ли он, историк, при- вык подводить итоги; где гарантия, что умрешь не сегодня? Каждый год проживаешь день рождения и день смерти – эта мысль как поразила его в детстве, так с тех пор и всплывала время от времени. В Москве, где давно уже не было никакой жизни, но смерть медлила, – умирать не хотелось, хотелось посмотреть, чем кончится; но тут, рядом с Женькой, – право, хоть и в двадцать восемь лет, а не жаль было бы сдохнуть, чтобы не смазывать впечатления. Ужас – в приближенности: соглашаешься на то и это – вместо того, что хочется, с допу- щением большим или меньшим, запрещалось в собственной среде. Удивительна была их тяга к свободе и горизонтали в любых чуждых сообществах, – и неотменимая вертикальная иерархия, которой подчинялась любая их группа; здесь Волохов чувствовал это особенно остро – даром что в газетах, в кнессете и в каждой компании, куда его затаскивала Женька, все беспрерывно спорили и с разных сторон ругали власть. Все это, в отличие от неутрахаю- щей российской склоки, было занятием милым и почти домашним.

Есть такой японский соус, сам по себе, говорят, не имеющий вкуса, но делающий рыбу более рыбной, а мясо – более мясным; так и тут, в самом воздухе, было что-то такое, что делало споры более спорными, солнце – более солнечным и даже смерть, разлитую в воздухе, – более смертной. Когда вскакивали ночами по звонку, неслись куда-то, где опять ухнуло (он так потом и вспоминал Женьку – босой, прыгающей на одной ноге, с чертыха- нием влезающей в джинсы), когда с профессиональным хладнокровием (явственно любуясь собой) по мобильнику диктовала в номер на так и непонятном Волохову языке, Волохов чув- ствовал, что жизнь здесь, вот она, живей не бывает. Для себя он объяснял это присутствием Женьки, а что делало Женьку такой – не задумывался. Родится иногда такая сумасшедшая горячая девка, которой всего мало. И температура у нее всегда была тридцать семь с копей- ками, а когда в начале июля она поймала вирус и два дня валялась дома с тридцатью девя- тью, ей и это шло; никогда больше Волохов не видел ее такой гармоничной, легкой, тающей. Лежала целый день в кровати, мечтательно на него глядя, закинув руки за голову, рассказы- вала что-то из раннего, еще уральского, детства. Как все такие девочки, страшно любила отца. Отец остался где-то в России, иногда слал мейлы – только ей, с матерью не общался принципиально. Странно, как мало она помнила о России и какой сказочной представлялась ей эта страна.

Иногда, конечно, Волохов думал: плюнуть на все, взять ее домой, устроится, журнали- сты ее класса не пропадают. Тут же одергивал себя: какой там особенный класс? Соображает быстрее среднего писаки, и только. Знание русских реалий – нулевое или близкое к тому. Но на первое время он прокормит – как-никак завсектором, – а потом она найдет занятие: дольше двух недель бездействовать – не про нее. И временами он почти не сомневался, что

она поедет, – но заговаривать об этом боялся, потому что отказ неизбежно вогнал бы его в отчаяние, при самом искреннем желании внушить себе, что она совершенно свободна. «Ты ссовершенно ссвободна», – прошипел один поэт одной тоже поэтессе и уполз в Африку.

В Москве у Волохова даже была как-то невеста. Они прожили вместе два года, а потом он сбежал – от ее кроткой покорности, тихой задумчивости и вечной печали. Она была странная девушка, все время плывшая по течению и никогда ни с кем не спорившая. Он уж почти забыл ее. Как ее звали? Валя, филолог-фольклорист с соседнего курса, с филфака, располагавшегося этажом выше в первом гуманитарном. С Валей жилось спокойно, тихо и уютно, но Волохову не хотелось больше так жить. Он никогда не понимал, что происходит у Вали в голове. Иногда она привозила из экспедиций странные поговорки и повторяла их по любому поводу: «Ай-но густо, вайно хрусто. Оболокать картошно, растолокать оплошно. Черешень заступ колубал, аи чекуляку гордубал?» Где-то он уже слышал такую речь, но не помнил где. Должно быть, что-то южнославянское.

Еще меньше он понимал ее сказки, в которых добро никогда не побеждало – его угнетали, а оно смирялось. Яснее прочих он помнил одну сказку – что-то про старика и старуху, у которых была волшебная меленка; меленка молола сама и называлась «жерновцы». Был еще петушок, он-то и навел их каким-то образом на эту меленку, а не то сам ее приволок из лесу; полезный петушок, делавший все по хозяйству, петушок-добытчик... Ехал богатый барин, заглянул в избу и отнял жерновцы. Петушок полетел к нему, сел на ворота и кричит: барин, барин, отдай мои жерновцы – золотые, голубые! Барин приказал зажарить петушка, а петушок взвился из печи, вылетел да и опять просит: барин, барин, отдай мои жерновцы – золотые, голубые! Самое грустное было то, что он все продолжал нахваливать эти жерновцы; да кто же после такого отдаст? Барин его в воду а петушок выпил всю воду и опять просит... И не то чтобы поджечь дом барина или выклевать ему глаз – это петушку и в голову не приходило; он только все просил свою меленку, золотую и голубую, и конца у сказки не было, как не было конца новым испытаниям, которым подвергали петушка. А старик со старухой, лишившиеся теперь и единственного кормильца, все сидели, должно быть, дома, доедали последнее, доскребали по сусекам, а может, шли уже по дорогам, питаясь подаванием, да вспоминали, как был у них волшебный петушок да жерновцы, золотые, голубые. Волохов послушал-послушал про все это да и сбежал, потому что чувствовал, как слабость, покорность и жалость обволакивают его. В нем с детства была предрасположенность к этой слабости и жалости, и не научись он вовремя подавлять их, его давно бы уже оседлали, особенно по нынешним временам.

С Женькой все было иначе. Женька была первой, за кого он мог не бояться. За три недели до отъезда он не выдержал-таки и спросил с полузабытой уже робостью (совершенно отвык тут стесняться себя, все было не по-русски отчетливо: да – да, нет – нет):

– Жень, поехали со мной, а?

Она уставилась на него с недоумением, улыбаясь сначала неуверенно, потом шире и шире.

– Ты что, предложение мне делаешь, морда?

– Типа того, – буркнул Волохов.

– Милый, я страсть как польщена, но я ведь ЖД. Ты разве не знаешь?

– Жэ Дэ? – переспросил Волохов. – В смысле национальность?

Первый его порыв был – утешить, в том смысле, что – подумаешь, ты же знаешь, у нас там далеко не так дремуче, а если кто посмеет тебя так назвать – я ему все оторву; но мужчинское это желание утешать и защищать тут же испарилось – не такова была Женька, чтобы чего-нибудь бояться. Она уже смеялась его непонятливости.

– Ага, национальность. Жи Ды. Живой Дневник. Jah Division. Женька Долинская. Ты что, правда не слышал? Как ты в страну поехал, ничего о ней не зная?

Такой снисходительности он не любил. Все-таки ей было только двадцать три года.

– Я, Женечка, знаю столько, сколько мне нужно. Этим историк отличается от журналиста.

– Ну не сердись, пожалуйста. Мордочка, я не могу выйти за тебя замуж, и ни за кого не могу по крайней мере до известного момента.

– Когда Мессия придет?

– Не совсем. Когда миссия исполнится. ЖД – это Ждущие Дня, если хочешь.

– И когда день?

– Это уж ты почувствуешь.

– Хазарский заговор, – хмыкнул Волохов. Если честно, он был уязвлен. – А почему ты мне не рассказывала никогда?

– Дарлинг, я не знала. Я думала, ты в курсе и деликатно обходишь этот вопрос.

– С чего бы мне его обходить?

– Да с того, что ты не ме-е-естный, – она чмокнула его в щеку, – совсем не местный, ни на ген, хотя такой умный, такой носатенький... Я обязательно приеду, Вол. Но тогда, боюсь, ты уже не захочешь брать меня замуж.

– Тебе будет девяносто?

– Нет, что ты, гораздо меньше. Подожди, вечером расскажу.

И она убежала на свое дежурство, к которому Волохов вечно ее ревновал, потому что никогда не мог понять, с кем она в этой газете спала, с кем – нет, с кем еще собирается спать после его отъезда и как все они относятся к нему. Прежде чем Женя вернется домой, Волохов решил встретиться с коллегой из Музея истории катастрофы и расспросить его про ЖД.

Коллегу звали Миша Эверштейн, – как говорил один московский знакомый, «хазар настолько, что это уже неприлично». Миша принадлежал к распространенной породе, подчеркивавшей и пересмеивавшей свое хазарство на каждом шагу. Волохову казалось, что это обаятельней, нежели изо всех сил встраиваться в русский тип, отпустить длинную бороду, говорить вальяжно, солидно, с ласковым московским аканьем, не суетиться, радовать глаз русопята приятной округлостью движений... Эверштейн беззлобно и даже почтительно похотывал над анекдотами про Рабиновича, пародировал газетный стиль, имитировал местечковый акцент – хотя у него был прекрасный, богатый и пластичный русский язык, без намека на провинциальность. Он и выглядел чересчур типично – маленький, смуглый, птичьеносый, с редкой черной бороденкой и быстрыми карими глазками, – и вел себя, как Рабинович из анекдота: мелко суетился, болтал, бравировал неряшливостью, быстро и неопратно ел и все трогал себя: то потрет переносицу, то примется тереть мочку уха, то почешет под мышками и быстро понюхает пальцы. Это, пожалуй, было у него не пародийное, а врожденное, все остальное он подобрал по черточке, чтобы довести до совершенства гротескный образ, растворить природные черты в анекдотических, чтобы и собственные его мелкие пороки казались сознательно выбранной маской.

У Волохова никогда не было собеседника столь чуткого: сам Волохов думал обаятельней, формулировал осторожней, – Миша подхватывал всякую едва высказанную мысль, снимал с языка возражение и на ходу опровергал его, но за быстротой этих опровержений Волохов подозревал тайную неуверенность: скоростью Эверштейн компенсировал поверхностность, блеском парадокса отвлекал от слабости тезиса. Волохов все время хотел ему сказать: помедленней, – но по статьям Эверштейна, которые читал с уважением и часто с завистью, знал, что думать медленно и глубоко тот очень даже умеет. Очень хотелось поговорить с ним по-настоящему, без обмена цитатами, без анекдота, но до себя Эверштейн не допускал. Волохов чувствовал явную симпатию с его стороны, а вместе с тем понимал, что и симпатия эта легка, необязательна. С ним будто не говорили о главном.

Побеседовав для приличия и без особенного интереса о миссии Гесса в Англии (Эверштейн специализировался на раннем периоде Второй мировой), Волохов со старательной небрежностью сказал:

– Кстати, Миша... я все хочу вас спросить... Что такое эти ЖД?

2

Он ожидал мгновенной перемены в тональности разговора – удивления, испуга, если угодно, – но даже если Эверштейн и удивился, то ничем этого не выдал. Он комически схватился за голову:

– Ой, вейзмир! Таки они его уже вовлекли. Скажите же, Воленька (он смягчал «ж», как французское j): вас уже хотят туда принять? Вам таки уже совсем скоро отрежут? (Обрезание было его излюбленной темой.)

– Да я вообще не знаю, кто они такие. Мне очень стыдно.

– Ой, боже ж мой, шо вы стыдитесь, мальчик. Я расскажу вам за ЖД, а все-таки этой вашей Долинской надо укоротить язык. И шо она болтает с этими гоем, я вам скажу... А скажите, вы таки, когда ехали, совсем ничего не знали? И никакая тетя Циля из Житомира вам таки ни разу не объяснила, шо это за ЖД? Тетя Циля из Житомира всегда очень многословна, ви знаете почему? Ви заметьте, шо между собой мы никогда так не разговариваем, а только с вами. Это нас пробивает на словесный понос от счастья, шо не бьют сразу по морде. И от того, шо отпустило, мы сразу начинаем рассказывать все, всю свою жизнь. И при этом так, знаете, не без заискивань подмигиваем, типа мы свои. А? Когда я перееду в Россию от этой ужасной страны с ее идиотскими левыми, вы же ж защитите меня от уличного хулигана?

– По-моему, вы преувеличиваете, – хмуро сказал Волохов, которому успели надоесть жалобы на притеснения и генетическую русскую хазарофобию. – Если вы болтаете, только когда вас бьют, в России все ваши уже лет двадцать как должны дать обет молчания.

Эверштейн визгливо захохотал, откидываясь назад. Они сидели в белой прохладной комнате городского музея. За окном медленно плавилось, растекаясь в золотую лужу, огромное солнце.

Со всеми непременными ужимками Эверштейн поведал, что ЖД – контора знаменитая, но взглядов ее на многие вещи он не разделяет, это Женечка у нас радикал, а я скромный историк... Когда он перешел наконец к сути и вывалил на Волохова правду, уместившуюся в одно предложение, Волохов в первый момент принял ее за обычную местную теорию, каких наслушался во множестве. Он уже готовился было сказать – да, Миша, я всегда догадывался, что вы славный альтернативщик, но что-то его остановило. Волохов сидел против солнца и не видел толком эверштейновского лица, но Мишин голос посерьезнел, местечковые интонации исчезли, лексика сделалась строже – чем дольше он говорил, тем меньше дистанцировался от ЖД. Волохов много раз потом хвалил себя за аккуратность: состри он что-нибудь – Эверштейн бы мгновенно замкнулся и никогда уже не заговорил с ним всерьез.

Стоило, однако, на секунду принять идею ЖД не за обычную придурь радикалов, а за серьезную версию, как картина мира неузнаваемо менялась. Слишком многие вещи получали исчерпывающее объяснение, а теорию, обладающую такими свойствами, отделял от массового признания один шаг. Волохов занимался альтернативкой двенадцать лет из своих двадцати восьми и знал, что никакой истории нет – всякое событие известно в бесчисленных пересказах, и час спустя не поручишься, что сидел с Эверштейном на закате в прохладной белой комнате, слушал его болтовню и заметил вдруг, как он перестал паясничать, а принялся вещать, что твой оракул... Было, не было – никогда не поймешь. В зависимости от собственной концепции каждый выделял одни факты и отметал другие. Гумилев вообще

кроил историю и географию, как хотел, искусственными сближениями и натяжками компрометируя здравую догадку. Весь Московский институт альтернативной истории для того и существовал, чтобы классифицировать хотя бы главные версии, и та, которую излагал Эверштейн, была лучше многих. Больше всего удивляло, что Волохов слышал о ней впервые: сейчас, через десять минут после первого с ней знакомства, он уже не поручился бы, что втайне не догадывался о чем-то таком всю жизнь.

Простая и гармоничная теория эта сводилась к тому, что русские не были коренным населением России.

– Под коренным населением, – сразу уточнил Эверштейн, опять снимая возражение с языка собеседника, – я никоим образом не имею в виду тех, кто поселился на территории раньше всех. Уговоримся сразу, что под коренным населением мы понимаем титульную нацию, или тех, кто считает эту землю своей. Согласитесь, Волохенька, что простым большинством это не определяется.

– Конечно, не определяется, – кивнул Волохов. – Кто такие русы – вообще никто до сих пор не знает. Так называли штук десять племен на юге, севере и востоке.

Эверштейн удовлетворенно засмеялся: основное допущение прошло.

– И если вы внимательно посмотрите на вашу жизнь последних лет пятисот, – продолжал он уже без всякого акцента, – вам станет недвусмысленно ясно, что русские вели себя так, как только и может вести себя некоренное население на чужой земле. Главное, что у вас происходит, – истребление и колонизация народа при том, что никакого прогресса в собственном смысле при этом нет. Как, впрочем, и в Северной Америке, в которую колонизаторы не принесли ничего, кроме огненной воды и костров из людей. Это вам не англичане на Цейлоне, которые лечили от лихорадки и расчищали местные древности... Знаете, когда я впервые посмотрел «Рублева», мне пришла та же мысль: отчего никакие татары не делают с русскими того, что делают с собой они сами? Архетип ведь прослеживается. Так поступать с землей, так истреблять народ, так выкорчевывать любые ростки культуры, чуть она поднимет голову, – коренное население не в силах! Эта земля вам чужая, и только гордость завоевателей мешает вам это признать. А чем особенно гордиться, скажите, Волохенька? Вам же и сопротивления особого таки не оказали... (Судя по тому, что Эверштейн опять начал юродствовать, он подошел к важному пункту в изложении, и надо было рассеять внимание собеседника новой порцией ужимок и прыжков.)

– А кто должен был его оказывать? – спросил Волохов.

– Как кто? – удивился Эверштейн. – Те, чья земля... Ви же умный мальчик, Волохенька, ви же знаете, что не было никакого ига. Ига, фига... Дешевая подтасовка, в летописях куча противоречий. Или ви действительно думаете, что на Куликовом поле сходились русские с татарами? Что это были за татары, откуда они взялись, интересно? Нет, дорогой мой, дрались там ваш Челом-бей и наш Пэрец-вет...

– Ну да, – кивнул Волохов. – Я давно догадался.

– О чем догадались? – насторожился Эверштейн.

– Что вы этим кончите. Конечно, коренное население – вы. Очень изящно.

– А вы не иронизируйте! – Это было сказано с неожиданной горячностью. В комнате темнело – стремительно, как везде на юге; света они не зажигали. – Вы проследите хотя бы советскую историю, и все станет ясно! Посмотрите на ваших почвенников, простите уж меня за это слово, оскорбляющее невинную почву, – где у них хоть один талантливый текст? Так можно писать только по указке. Сравните «Поезд ушел. Насыпь черна. Где я дорогу впотьмах раздобуду?» – чувствуете, как пишут о своем?!

– Пастернак ненавидел свое происхождение и стыдился его, – угрюмо сказал Волохов.

– Это он сам вам сказал? – язвительно осведомился Эверштейн. – Или он таким образом покупал себе лишний годик жизни? У него перед глазами была судьба Иосифа Эмилье-

вича, который очень даже не скрывал, что его кровь отягощена наследием царей и патриархов. Вот и получил. А вы вслушайтесь: «Ах, я видеть не могу, не могу берега вечнозеленые: бродят с косами на том берегу косари умалишенные», – может так писать чужой человек? Нет, только тот, кто чувствует язык в его подводном течении... И сравните вы это с ужасным паном Твардовским, с частушечным Исаковским, я не говорю уже про бардов из газеты «Позавчера»... Помните, кто писал лучшую патриотическую лирику двадцатого века, когда нам после семнадцатого года стало наконец можно любить нашу Родину!

– О да, – кивнул Волохов. – «Там серые леса стоят в своей рванине. Уйдя от точки А, там поезд на равнине...»

– Это крик оскорбленного патриотического чувства! – не дал договорить Эверштейн. – Это вопль изгнанника, проклинающего свою землю и не могущего от нее освободиться! То же самое, что «Отвяжись, я тебя умоляю!» у Веры Евсеевны.

– Какой Веры Евсеевны? – тупо изумился Волохов.

– Ну, не прикидывайтесь младенцем. Вы отлично знаете, что за Набокова писала жена. Он был типичный балованный аристократ, продукт многолетнего вырождения, а она его без памяти любила, дура, и дарила ему всю себя, свой талант. Сравните только, как он писал до женитьбы и как после. Ведь и проза вся началась только в двадцать шестом. По-английски – это он сам, не оспариваю, потому и выходило так пусто, безжизненно. Вы серьезно допускаете, что «Дар» и «Лолиту» написала одна и та же рука? Прочтите у Плейшмана, у него есть подробно. Я, собственно, не к тому. Помните эти жуткие резервации, куда под видом нашего же сохранения загнала нас ваша власть. Помните дикую черту оседлости. А когда мы оттуда вырвались, они придумали это, – он кивнул на окно, на сгущающуюся лиловую ночь. – Нет, ничего не скажу, ход достойный... иезуитский... Ступайте в вашу пустыню, на родину предков! Вы же знаете, что рассматривался вариант с Дальним Востоком? Уже застолбили Биробиджан, но потом благодетель резонно подумал: зачем они мне под боком? Ведь рано или поздно все равно вырвутся! И тогда все опять по новой? Не-ет, пусть сдохнут в пустыне... без воды, среди враждебных арабов! Но только не вышло! – Эверштейн радостно захохотал. – Построились, разбили сады, подняли города, ужились с арабами, – посмотрите, скольким из них мы даем работу, – это вам не яблони на Марсе! Потом, конечно, ваши спохватились, сделали Арафата, стали тренировать у себя террористов... Не думайте, есть факты. Но поздно. Теперь уже, батенька, не задушишь, не убьешь.

– Это все очень гладко. – Волохов говорил медленно, подбирая слова: он знал, что некоторые темы из числа архаических – нацию, родство – лучше не поднимать и в разговорах с самыми продвинутыми постмодернистами, для которых давно нет ничего святого. – И тем не менее я тоже немножко историк, Миша. Я все больше, конечно, по Второй мировой, но первый курс кончал и знаю, что Каганат был сравнительно небольшим приволжским государством, отнюдь не состоявшим из этнических хазар. В Каганате приняли иудаизм, причем даже не в талмудическом, а в караимском варианте. Никаких следов Каганата в русской культуре нет, если не считать поединков Муромца с жидовином, и то вопрос, не позднейшая ли это былина, сочиненная в порядке стилизации кем-то из собирателей. Никаких следов хазарской государственности, кроме нескольких крепостей, опять-таки нет. И говорить, что с нее началось русское государство...

– Нет, конечно! – снова закривлялся Эверштейн. – Мне особенно нравится про этнических хазар. Кто вам вообще сказал, что бывают этнические? Много общего внешне у сефардов с ашкеназами? Много вы наблюдаете похожих типажей тут, в Каганате? Может, Женька похожа на хазарку? Следов им нет... Их-то и вытаптывали в первую очередь! Да у нас даже и эти крепости пытаются оттяпать, до сих пор. Представляете, какое упорство? Вы меня, Воленька, простите миллион раз, вы отлично знаете Вторую мировую и все вокруг, но свой первый курс вы оканчивали во времена очередного крушения варяжской империи, в кото-

рой, заметьте, давали жить всем народам, кроме нашего. У нас это называется формулой ИИ – Избирательный Интернационализм. Все объединяемся и идем бить ЖД. Так вот, в этой вашей полудохлой империи учили соответственно – вы же и марксизм изучали, разве нет?

– Он на нас закончился, – угрюмо пояснил Волохов. – В середине девяностых похерили весь марксизм. А зря – в нем есть здравые мысли. Особенно насчет того, что каждый препарирует историю сообразно своим интересам.

– Классовым, Воленька, классовым!

– Не обязательно. Классовое – это так, псевдоним.

– Ну конечно, у нас свои интересы! Главная цель нашей хазарской науки – охмурять ваших жен и разрушать вашу государственность! – хихикал Эверштейн. – И шоб я стал это отрицать! Вы таки никогда не задумывались, почему мы так любим разрушать вашу государственность, а вы так ненавидите нашу? Почему, как вы думаете? Почему вы устраиваете погром из любой своей революции?

– Само собой, – сказал Волохов. Этот аргумент был, если вдуматься, сущим подарком. – Не забывайте только, что революцию делаете вы, а погром является посильным ответом. Вроде как в тридцать седьмом ответили на семнадцатый. Правда, в органах...

– В органах с революции сидели в основном наши! – триумфально, словно это не опровергало, а подтверждало ее версию, воскликнул Эверштейн. – Конечно! Их вычищали, разумеется... потом, ближе к войне. Но в первое время, естественно... Скажите, Володя, – он отбросил наконец этого идиотского «Воленьку», – если бы вас двести лет хлестало плетками казачество, вы не провели бы первым делом расказачивание? Если бы вам пятьсот лет не давали работать на вашей земле, вы не согнали бы со своей земли тех, кто губил ее бездарным хозяйством? вспомните, как после черты оседлости, уже в девятнадцатом, по всему Поволжью расцвели наши коммуны. Не знаете? Конечно, в ваших учебниках об этом не писали, – выговорил он с невыразимым презрением. – «Дер Эмес», «Дер Вайнес», «Вольный Хлеб» – это все под одним Саратовом! И когда на Волге был голод, только там всегда был хлеб, и мясо, и молоко – потому что на земле надо уметь работать, да! За это коммуны и пожгли в двадцать втором, и потом, в двадцать девятом... Что, вы полагаете, с поджигателями надо было нянькаться? Титю им давать?

– Так за что же эти ваши брали своих? – не выдержал Волохов. – Почему тысячи хазар гребли в тридцать седьмом?

– Наши?! Их брали наши?! Почитайте вашего Солженицына! Наши, если где и оставались на командных постах, всячески вытаскивали своих, – а вот ваши были друг другу как волки, потому что инстинкт истребления народа вошел уже в русскую кровь и плоть! А в тридцать девятом наших вычистили из органов по-го-лов-но, и настал окончательный русский реванш за наш семнадцатый год... Между прочим, из того, что напридумывал Ленин, очень многое могло-таки сработать. Он был сомнительный стратег, плохо видел будущее – слишком, знаете, прозаик для этого, прагматик, недооценивал власть утопии. Но тактик был гениальный, и у него могло неплохо получиться – если бы сразу не началась чудовищная усобица. А кончилось все прямым национальным реваншем – революция ведь была не только социальная. Речь шла о нации, возвращавшей себе свое. Ваши же, не скрываясь, называют тридцать седьмой русским реваншем! В войну наших сдавали немцам сотнями, и когда девочек увозили на расстрел, им вслед улюлюкала толпа: чесночниц повезли! Чесноком больше не будет пахнуть... – Он опустил голову и замолчал. – Не говорите со мной лучше, Володя, про это. Я и так жалею, что слишком перед вами распространился.

– Скажите хотя бы, – заговорил Волохов после паузы, – почему, собственно, ЖД... и почему она отказывается ехать со мной?

– Вы уже предложили? – вскинулся Эверштейн.

Не надо было этого говорить, понял Волохов. Миша, вероятно, и сам тут не вполне посторонний.

– Не то чтобы предложил. Сказал, чтобы съездила со мной... в гости...

– А у них правило такое. Они как барбудос, – помните, Кастро и прочие: пока не будет мировой революции, не побреемся. Так и эти: они вернутся только в свою Россию. Когда там начнется.

– Что начнется?

– Последняя битва, – усмехнулся Эверштейн. – Пока идет только подготовительный этап.

– Давно?

– С восемьдесят девятого. Как дали сигнал, так и началось.

– Что за сигнал?

– Да вы его знаете. Помните – «Над всей Испанией безоблачное небо»? Вот и тут что-то вроде. «Пора вернуть эту землю себе».

– БГ? – не поверил Волохов.

– Вы знаете, что такое Б-г в нашей транскрипции? – вопросом на вопрос ответил Эверштейн.

– Если это и выдумка, – после новой паузы проговорил Волохов, – то вполне убедительная.

– Может, и выдумка, – устало сказал Эверштейн. Из него словно выпустили воздух. – Но знаете... Я не принадлежу, конечно, к ЖД, я ни к кому не принадлежу, я всегда немножко сбоку, потому что уже такой у меня характер, испорченный долгим рассеянием. Хазарское неверие мое. Но когда вы вернетесь таки в свою Россию, вы вот на что обратите внимание. Вот вы приезжали сюда. Ви могли пойти к врачу – и у вас не было чувства, что этот врач ненавидит вас. Ви могли позвать полицейского – и не боялись, что он вас за просто так схватит и отправит в участок, и там отобьет вам почки, и ви кровью будете писать три дня... А когда ви приходите там к врачу – вам с порога внушают мысль о том, что лучше бы ви уже умерли, чем отнимать время у такого занятого человека, у которого на участке еще пятьдесят глухих старух, которые смотрят на него, как на Господа Бога, а он только и думает: хоть бы ви все передохли... И когда ви служите там у вас в армии – я знаю, ви проходили эти ваши сборы, – ви отработываете тупую повинность, а не защищаете вашу землю, потому что эта земля не ваша. И поэтому наша армия воюет, а ваша жрет перловку и пускает ветры. Поезжайте домой, Воленька, посмотрите на все здешними глазами. Вспомните, как умеют любить наши девушки, и посмотрите, как по особой милости, в порядке особого снисхождения, отработывают любовь ваши. Посмотрите, как не хочется им рожать новое поколение чужих людей на этой земле. И подумайте, что мы могли бы сделать с ней, если бы вернули ее себе.

– Элегантно, элегантно, – спокойно сказал Волохов. – Вы упустили одно. Вас ведь уже почти не осталось... там, у нас. (Он почему-то не хотел в разговоре с Эверштейном употреблять слово «Россия» – словно уже почувствовал себя оккупантом: наверное, когда-то эта страна называлась иначе, и Эверштейна ее нынешнее название оскорбляет так же, как коренного петербуржца оскорблял «Ленинград»). Почему же продолжается... это истребление? Ведь плохо у нас не только хазарам, и если позволите – если мы не будем затевать вечный матч за первенство в страданиях, – русские потерпели от собственных властей уж как-нибудь не меньше... Все наши старухи в очередях у врачей, все избиения в милиции... волна расправ с олигархами...

– Знаю даже прелестную шутку про ходоркост.

– Если бы дело ограничивалось хodorкостом, – терпеливо продолжал Волохов, – я бы принял вашу версию без возражений. Но берут далеко не только хазар, и в российскую армию призывают главным образом своих; вы не находите?

– О, конечно! Но ведь вы сами не замечаете, как добавляете мне аргументов, – радостно кивнул Эверштейн. Он зажег настольную лампу, и Волохов поразился мягко-сочувственному, почти отеческому выражению его лица. Или это тени так легли, и лампа была специальная, лживая, хазарская? – Как можно умирать за чужое? Даже у Галкиной, главной вашей специалистки, сказано: захваченное население не ставят оборонять рубежи! Во время последней войны ведь можно было поднять в атаку только при помощи заградотрядов – что, нет?

– Слышал я и про это, – хмуро сказал Волохов. – Но вы историк, Миша, и уж к таким откровенным спекуляциям прислушиваться...

– А что, вы скажете, этого не было? Не было? Есть тысячи свидетельств, тысячи...

– Было и это, было и другое.

– Было, кто же спорит! И героизм случался, нет слов, – но почему этот ваш героизм всегда такого самоубийственного толка? Вам не приходило в голову, что люди бросались на амбразуры потому, что начинали ненавидеть свою жизнь? Вы, может быть, не знаете, кто на самом деле был Матросов?

– Замученный русскими хазар? – не удержался Волохов.

– Гораздо, гораздо хуже, – не принял шуток Эверштейн. – Он был замученный русскими русский. Детдомовец, маленький, плюгавый, которого в армии все били. Вот он и кинулся тощим животом на пулемет, с отчаяния... Или ваш русский Астафьев не писал о том, как люди искали смерти с голодухи, с холоду, надеясь хоть в земле выспаться? Русская власть все сделала, чтобы и жизнь самих русских превратилась в ночной кошмар. Потому что никакого другого стимула умирать за чужую родину у них не было. Вся стратегия вашей власти применительно к своим людям – полное обесценивание жизни, чтобы на гибель смотрели как на избавление. Вы думаете иначе? И у вас есть на то основания? Может, вы там, в вашем альтернативном институте, не знаете, как девушки шли добровольно на фронт, чтобы искупить грехи отцов? Имя Нины Костериной, эзковской дочки, оставившей дневник, вам ни о чем не говорит?

Говорит, – кивнул Волохов. – Продвинутый вы человек, Миша. Хорошо читали продукцию издательства «Молодая гвардия».

– А как же ж! Из нее же ж сделали героиню! И она была таки героиня, но умирала не за родину, которая была чужая, а за папу, который был свой! И таких было много, много – у каждого своя причина скорей умереть, чем дальше так жить! Был, не скрою, небольшой процент идеалистов, искренне считавших, что это их земля. Любивших елочки, березочки. Но эти-то люди как раз и были в основном из числа интеллигенции, нет? Я не говорю вам даже, что вся интеллигенция в России была хазарская. Боже упаси, сколько было настоящей русской! И эта русская интеллигенция, кстати, всегда догадывалась о том, кто настоящее население России, – отсюда ее дружелюбие к нам, хазарофильство, обструкция всяким мишигинерам вроде Розанова... Ну так ведь этой интеллигенции в войсках и приходилось хуже всего! Кто шел добровольцем по идейным мотивам – того больше и мучили в войсках отцы-командиры и свои же братцы солдатики! Почитайте Гроссмана. Почему-то только Гроссман написал всю правду об этой войне, вы не находите? В том числе о том, как городской мальчик Сережа, очень идейный и вообще большой патриот, терпит утеснения от крестьянства.

Тем, кто считал эту землю своей, было еще хуже: им на каждом шагу напоминали, что она чужая. Потому и крестьянство у вас, кстати, такое тупое и злобное. Почему ваша земля – находящаяся, между прочим, на широте Канады, не родит так, как в Канаде?

– Вероятно, ждет, пока вернетесь вы, – хмыкнул Волохов.

– Ну зачем эта мистика? Я понимаю вашу иронию, но не я начал этот разговор. Вам обидно, конечно. Голос крови ой какая страшная штука! Но земля не родит потому, что вы не хотите на ней работать. Работать на чужой земле – совсем не то, что на своей. Посчитайте, сколько земли не возделано... Я ведь бывал в Москве, видел ближнее Подмосковье: бесконечные свалки, череда недостроенных домов, брошенных воинских частей, заросших пустырей... всю эту землю ни заводами, ни коттеджами не застроишь. Куда вам столько?! Откусили больше, чем можете по своим способностям проглотить, – вот и застряло. Потому и нет никакого движения, никакой истории, как здраво рассудил наш общий друг Чаадаев. Или вы тоже считаете его сумасшедшим?

– Нет, сумасшедшим он не был. У него геморрой был, потому он и смотрел на вещи так мрачно.

– Ну да, конечно, у всех, кто мрачно смотрит на вещи, был геморрой. А у вас все хорошо, у вас нет геморроя, с чем вас и поздравляю. Хватит, может быть, на первый раз? Я чувствую, что вы обиделись, а вы мне, ей-богу, симпатичны, не хотелось бы портить так успешно завязавшийся контакт...

– Нет, что вы. – Волохов был сильно задет и сам на себя за это злился. Уж ему-то, манипулятору со стажем, следовало обладать устойчивостью к чужим спекуляциям. – Я одного не пойму: ну ладно, солдаты не хотят воевать. Но остальные... остальных изводить зачем? Только ради грядущей войны? Но никаких новых войн не предвидится... Больших конфликтов нет уже лет семьдесят...

– Да? А то, как ваши чуть не устроили войну из-за Кубы? А как они влезли в Афганистан? Сравните это с тем, что сделали там америкосы – тихо, без истерики и за три месяца. А ваши лезли с явным расчетом на хорошую, большую мировую войну! Поживи Сталин еще годик, а Андропов – еще годика два... Ваши ребята воинственные, им без войны не житье! Плохому пахарю плуг мешает. Вы пустите нас на нашу землю – и вы увидите, как она будет родить.

– Может, и флогистон найдете?

– А что вы себе думаете, и очень может быть, что найдем! Флогистон ведь где появляется? – вы не думали об этом? Он там, где дышит дух истории. У вас история стоит, вот и флогистона нет. А пустите нас, и сразу будет и флогистон, и апейрон, и что хотите.

– Что же вы на этой земле не работали? – съехидничал Волохов. – Солженицын на огромном материале доказывает, что у вас были все возможности для возлюбленных сельскохозяйственных трудов! Организуйтесь, и вперед! Но что-то пахать никто не рвался! – Он замолчал и перевел дух. Что-то страшное лезло из него, что-то, к чему он сам не был готов; еще немного – и он, казалось, ударит Эверштейна, которому происходящее доставляло массу удовольствия.

– Наблюдаю пробуждение национального духа! – с восторженной улыбкой кивнул тот. – Видите, как это легко? Убедились, что генетическая память о захвате жива и в вас, доброжелательном интеллигентном человеке, захватчике в пятьдесят каком-нибудь поколении? Предупреждаю вас, Воленька, что драться со мной не нужно, я таки немножко служил, и кое-чему меня учили...

Злорадство его было так откровенно, он так явно вызывал на драку, что до нее и в самом деле оставалось полшага.

– Хватит! – прикрикнул на него и на себя Волохов. – Хватит, – повторил он уже тише. – Хотите вы того или нет, бить я вас не буду. Я тоже кое-чему учился... в нашей плохой армии. Еще не хватало тут..? в Музее катастрофы... вы из этого потом такое сделаете...

– Я тоже думаю, что хватит, – миролюбиво кивнул Эверштейн. – Тем более что на ваш вопрос мне ответить легко и приятно. А вот что вы ничего не слышали о сорочинской клятве,

это вам чести не делает. Могли бы и поинтересоваться вместе с вашим Исаичем. Вы, может быть, слышали, где Илья Муромец схватывался с богатырем-жидовином?

– Слышал. В степи Цецар, под горой Сорочин. Где она была – никому не известно.

– Во всяком случае, к Сорочинской ярмарке это не имеет прямого отношения. То есть местность, конечно, носит название именно в честь этого события, и ярмарка в ней проводится по той же причине. Знаете, сколько по великия и малью Руси всяких Сорочинов, Сорочинсков и Сорокиных? Все не можете забыть, как наш Элия Эмур-омец перешел на вашу сторону и предательски напал на своих.

Волохов расхохотался.

– Среди трех богатырей Илья-Муромец еврей, – едва выговорил он сквозь хохот.

Эверштейн смотрел на него невозмутимо:

– Вы полагаете, это возникло на голом месте? И Васнецов просто так сделал ему откровенно семитскую внешность? Вы знаете, с кого он его писал? С выдающегося толстяка Якова Толмачевского, адвоката-выкреста. Васнецов-то знал историю. Простите, я не в упрек вам говорю. Собственно, в «Богатырях» многое зашифровано – но вы, может быть, потом сходите к специалисту? Русская историческая живопись и литература – это же отдельная тема. Там тьма намеков. Обратите внимание на сбрую, убор коня, хазарскую палицу... Вы никогда не замечали, что Муромец начал свою деятельность только в тридцать лет и три года? До этого он, стало быть, сидел на печи – ситуация вполне мифологическая. Мимо шли три проходимца, как пишут ваши русские школьники в своих сочинениях... А знаете вы, Волохенька, что такое на древнехазарском «печь»? Степь, дорогой друг; слово «печь» потому и вошло в русский язык – вообще полный хазарских заимствований, – что обозначает, в русском представлении, плоское жаркое место. Отсюда русский миф о путешествиях НА печи, хотя в хазарском подлиннике речь идет всего лишь о том, что герой пересек степь, прошел ПО печи... Отсюда и печ-эн-эг, степной житель. Так вот, Элия Эмур-омец до тридцати трех лет был степным воином, начальником стражи кагана, пока не рехнулся и не перешел в навязанную русами веру. Ему вечно казалось, что его зажимают по службе: он государственную мудрость в голове имеет, а его все в стражниках держат. А тут калики перехожие, то есть русские лазутчики, вовремя сыграли на тщеславии: переходи к нам, Элия, мы тебя сделаем начальником над всем войском! Да и возраст у тебя такой – наш Бог в этом возрасте вознесся; держай! Что вы думаете? Принял христианство, хотя до этого был яростным его противником, Видали картинку Константина Васильева «Илья Муромец сшибает кресты с христианских церквей»?

– Видал, – признал Волохов. – Вы-то откуда знаете Васильева?

– Ну, как же не знать Васильева! Врага надо знать, особенно такого откровенного... Его ваши же и убрали в свое время, потому что слишком о многом проговаривался. Нельзя так откровенно рисовать, ну и попал под электричку... Ну, о нем я вам подробно не буду, в России прочитаете: убили и тут же канонизировали. Не успел он своего главного дописать, – расспросите на так называемой родине про его «Полет орла» неоконченный. Словом, Элия Эмур-омец посшибал немало крестов, пока калики не объяснили ему, что пришло его время. Тридцать три года – наилучший возраст для перехода в христианство и начала славных дел. Да еще вдобавок – последняя капля – на пиру у кагана чарой обнесли. «Но обнес меня ты чарой в очередь мою – ну, шагай же, мой чубарый, уноси Элью!»

– И Алексей Константиныч, выходит, знал?

– Алексей Константиныч вообще много знал. Но чтобы закончить про Элью: он перешел-таки к вашим, да. И крестился. И его даже не распяли – его наши достали, потом. Мы же всегда достаем, никто еще не ушел. Это у нас, если хотите, национальная гордость. Но под Сорочином нас разбили великолепно. Каган ушел чудом. Столицу пожгли. Цецар – это ведь столица, степь тут совершенно ни при чем... Цецар – старое хазарское слово, его и

римляне у нас взяли для названия своих царей. Обозначает не столько «главный», сколько «богоданный». Знали, сволочи, что спереть.

– Минутку, минутку. Вы хотите сказать, что и Рим...

– Ну, что Иудея была провинцией Рима, вы знать обязаны, – с изумлением воззрился на него Эверштейн.

– Да, знаю, знаю... но не хотите же вы сказать, что вся территория Римской империи изначально была...

– За всю территорию не скажу, – сокрушенно покачал головой Эверштейн. – Но таки значительная ее часть. Ведь до римской цивилизации была хазарская, достигшая беспримерного культурного уровня. И это сейчас никем не отрицается, благо мы, хазары, хорошо умеем хранить свои документы. У нас есть Ветхий Завет – прекрасно разработанная история. Все нас завоевывали – все, кому не лень. Потому что, начиная с известного культурного уровня, нация уже не может зверски сопротивляться – она, если бы даже и хотела, не способна отступить на предыдущую ступеньку эволюции. В этом вся досада, вся трагедия истории... Но ирония в том, что нацию, достигшую такой высоты, до конца тоже не истребишь. У Господа все предусмотрено. В такой нации появляется высочайшая внутренняя солидарность – основанная не на этнической, а на этической близости. Ты мне брат не потому, что мы родились в одном месте, – так рассуждать умеют и ваши примитивные землячества, – а потому, что у нас одна культура. Зов культуры сильнее зова крови, понимаете вы это? Римляне нас поработили, не скрою. Римляне попытались нас искоренить, свалив на нас казнь бродячего проповедника, которого они же и распяли. Видели вы «Страсти Христовы»? Из этого потом целая религия выросла, любимая религия завоевателей, вера для рабов: терпи – и воздастся. На том свете. А здесь не ропщи. Ее все завоеватели быстренько приняли – римляне, гунны, ваши любимые русы... Знаете, как Владимир крестил Русь? Дело было в хазарской столице Цецар, километров на двести по Днепру выше нынешнего Киева. Загнали всех в воду – женщин, стариков, детей... И не выпускали, пока не согласились перейти в новую веру. Называлось «крещение». Некоторые так и утонули. Волохов уже не знал, смеяться ему или плакать. Он отлично представлял себе способы подгонки летописей и свидетельств под любую нужную версию – в конце концов, ему за это платили деньги. Он все ждал, что Эверштейн засмеется или потрет ручки в своей манере: «Ловко? Смотрите, Штирлиц, как старина Мюллер перевербовал вас за пятнадцать минут и без всяких этих штучек!» Ничего подобного. Эверштейн был серьезен, как проповедник.

– Ну, а что все-таки насчет сорочинской клятвы? – спросил Волохов, хотя все ему уже было понятно.

– А насчет сорочинской клятвы – в тот самый год, после первого разгрома хазаров русами, поработанные хазары поклялись под горою Сорочин никогда больше не работать на этой земле, пока она будет чужая. Прекратить сопротивление, коль скоро оно бессмысленно, – незачем губить свои и чужие жизни, нас и так немного оставалось, – и искать любые лазейки для выживания и сохранения своей веры. Но на чужой земле – не работать: не пахать, не сеять, не строить. Какие у хазар землепашцы – вы, может быть, видели в кибуцах. Но пахать, пока там хозяйничаете вы... В тысяча девятьсот девятнадцатом нам было показалось, что на этот раз – победа... И тогда, если помните... Меморандум от 20 декабря читали? Так называемое Главбюро хазсекций при ЦК КП(б) приняло постановление о том, что хазарского вопроса не существует. Не существует, и все! Я вам процитирую, – он взгромоздил на нос тяжелые очки и жестом фокусника извлек из ящика стола зеленую брошюру с закладками на нескольких страницах, словно такие просветительные беседы ему приходилось проводить уже не раз. – Так, так, так... это все бла-бла-бла... вот: «РСФСР стала Родиной для хазарских трудящихся, защищавших ее с оружием в руках, – никакой другой страны им не нужно. Права на Палестину полностью принадлежат трудящимся массам арабов и

бедуинов». Не читали? Газета «Правда». И до самой середины тридцатых искренне ведь полагали, что сумеем возродить национальное государство. Нас, конечно, пугали. Раввин Мазе даже сказал, что революции делают Троцкие, а расплачиваются за них Бронштейны. Но боевитые ребята не перевелись – пятнадцать лет мы держали страну, и это были не самые плохие пятнадцать лет. Вся индустриализация, вся коллективизация...

– В результате которой вымерла половина крестьянства, – вставил Волохов.

– Ну, батенька, ну что за перестроечные штампы! Как в вас вбивал свою ложь этот ваш позднесоветский агитпроп! Или вы думаете, революцию мы одни сделали? Нас столько уже не было, мы только попытались поучаствовать. Небезуспешно, как видите. Был такой КомЗет – Комитет по земельному устройству наших трудящихся. В девятнадцатом было решение о том, чтобы отдать нам Северный Крым и часть Белоруссии. Не вышло. Отдали Поволжье, таки мы и там неплохо себе пахали. А в тридцать шестом ваши решили, что хватит. Что лучше нас переселить в Биробиджан. И очень удивлялись – почему мы не хотим туда ехать? А нашим гаврикам урок: не договаривайся с захватчиком! В пятьдесят третьем совсем задумали извести – да спасибо, черт прибрал вашего Сосо...

– Черт прибрал? Или доктора помогли? – прищурился Волохов.

– Ну, про заговор наших врачей ваши давно изобрели, – безнадежно махнул рукой Эверштейн. – Я все-таки лучше о вас думал.

– Шучу, шучу. Но скажите, Миша... Сами видите, я стараюсь воспринять вашу версию без моральных оценок, как специалист... Разве русское население не потерпело от вас как следует?

– Потерпело! – с вызовом и чуть ли не с удовлетворением сказал Эверштейн. – И очень! Потому что сопротивлялось, до последнего не желало признать, что земля эта наша. Мы говорили: отдайте добром. Не хотели. Массовый саботаж. Ну и – сами понимаете. Война. В белых перчатках революция не делается. Однако даже самый красный террор никогда не достигал таких масштабов, в каких русские принялись истреблять участников революции в тридцать седьмом. Всех гребли – и наших, и, не в силах остановиться, своих.

– А ведь после восьмидесяти пятого вы тоже хорошо погуляли, – медленно сказал Волохов. – Потери населения за следующие двадцать лет, по самым скромным подсчетам, составили никак не меньше, чем за все сталинские годы... Такое шло вымаривание, что любо-дорого смотреть...

– Ну а вы как полагали? – осклабился Эверштейн. – Мы, между прочим, открыли границы – пожалуйста! И дали все возможности зарабатывать – сколько хотите! И никогда не было такого, чтобы мы закрывали вам дорогу к образованию, как вы нам...

– Почему все физматшколы в семидесятых и были наводнены хазарами – будущими владельцами «Бета», «Гамма» и «Дельта»-банков! – не выдержал Волохов.

– А куда им было податься? К управлению страной путь закрыт, один путь – в науку! И то приходилось менять фамилии при поступлении – поскребите половину Сидоровых, такой Каганат откроется! Немудрено, что они устремились к власти – и заметьте, у них получилось. Потому что страна – наша, чего вы в упор не желаете видеть. И показатели у нее сразу стали превосходные – мир залюбовался. Просто очередной захватнический реванш не заставил себя ждать. Сначала в девяносто первом попробовали, потом в девяносто третьем, а в девяносто девятом все получилось. Только горцы наши не сдаются, так что вы еще с ними помучаетесь...

– Какие горцы?! – Волохов уже ничему не удивлялся, но это «наши» его все-таки встряхнуло.

– Обычные, Воленька. Не приходило ли вам в голову, почему тихий советский летчик Алексей Шварц вдруг взял себе псевдоним Жохар Дудаев? Что в итоге дает нам столь знаковую аббревиатуру ЖД? Только вы, русские, «Жохар» произносите слишком твердо. Джо-

хар. Джон О'Хара. Хи-хи. Чеченцы – последний отряд тех, настоящих хазар, наследники Каганата. Их оттеснили в горы – они и там умудрились цветущие города построить. После семнадцатого задружились было с вами, но разочаровались еще быстрее нас. Как вы сами-то не догадались, честное слово? Посмотрели бы на эти носы и усы, послушали бы язык, в конце концов... Ничего ведь общего с грузинами. Грузины, адыги, армяне – совершенно другие племена. А чеченцы, с их рыцарственным духом и откровенным самурайским зверством, – последние остатки той стражи, которую предал Элия Эмур-омец. Один из них его и достал потом. Некто Саул Ой-Вэй, в вашей транскрипции – Соловей. Свистом он был действительно знаменит, а вот насчет разбойника – это ваши сказители погорячились. Разбойником он только прикинулся: пять лет с отрядом вернейших скрывался в окрестностях бывшего Цецара, выслеживая Элию. Был когда-то его правой рукой. Стал грозой окрестностей, а уходил от ваших виртуозно. Часто спасался чудом, почему его и прозвали – угадайте как?

– Чудо-юдо, – покорно кивнул Волохов. – Был анекдот такой. «Я чудо-юдо!» – «Юде, юде? Ахтунг, фойер!»

– Может, у вас есть своя гипотеза происхождения этого прозвища? – любезно осведомился Эверштейн.

– Нет, нет, конечно! Богатыри-жидовины, чудо-юдо... Все сходится...

– А знаете, что сделал Саул Ой-Вэй с Элией?

– Обрезание по самый корень, – хмыкнул Волохов.

– Нет, это скорее в манере вашего нового вождя. Он подъехал к нему на коне, близко-близко, вот как сейчас я подхожу к вам... – Эверштейн встал с кресла и приблизился к Волохову. Волохов отчего-то захотел встать, учитывая, что ли, торжественность момента, но тот властным жестом руки остановил его. – Сидите, сидите. Он сказал ему всего одну фразу – но ее хватило. Ее не все знают. Это серьезные слова, Володя, и то, что я вам сейчас их скажу, подтверждает, как серьезно я отношусь к вам на самом деле.

Волохову стало не по себе.

– Было очень тихо, – понизив голос, таинственно и властно продолжал Эверштейн. – Только лес и звезды, и два бывших друга-соратника. Шайка Саула молча смотрит, встав полукругом. И тогда Саул Ой-Вэй сделал то, что хазары редко делали даже со злейшим врагом. Он отчетливо сказал, глядя в глаза Элии: «Ты пойдешь в Жадруново». Повернулся и ушел прочь с поляны, на которой его солдаты подстерегли Элию. Элия упал на колени и кричал ему вслед: «Отмени! Отмени проклятие!» – но он был хазар, хоть и выкрестившийся, и должен был помнить, что это проклятие не отменяется.

– И что? – стремясь сбросить оцепенение, спросил Волохов. – Пошел в Жадруново?

– Вероятно. Во всяком случае, больше его никто не видел. Эверштейн вернулся на место и захихикал.

– Эффектно, да? Красивая легенда.

– А что такое Жадруново?

– Понятия не имею. Никогда там не был. Звучит похоже на какой-то населенный пункт, да? Вернетесь в Россию – изучите.

– Интересно, а Соловья-Разбойника кто-нибудь видел? Или такое проклятье даром не проходит?

– Да, оно забирает много жизненных сил, – устало подтвердил Эверштейн. – Я тоже что-то устал, Воленька... Давайте потом договорим. Что касается Соловья, то он сделался народным сказителем и, ослепив себя в знак траура по лучшему другу, стал ходить по русским деревням, сказывая былины о богатырях-жидовинах. Впоследствии русские, конечно, их отредактировали до неузнаваемости, убрали внутренние рифмы, погубили распев... Мы попытались реконструировать оригиналы, они изданы. Есть, кажется, даже сидюк с хазарским распевом, но это уж совсем левые дела. Поговорите с Женькой, она расскажет.

Он встал и принялся с прежней суетливостью (без следа исчезнувшей при рассказе о страшной гибели Ильи-Муромца) собирать бумаги, бессмысленно перекладывая брошюры на столе, с десятком сложных ритуалов открывать и закрывать портфель, упихивать туда что-то, уминая и утрамбовывая.

– Вы Женьку, правда, расспросите, – повторял он рассеянно, – потому что она прицельно этим занималась. Ви же знаете, я специалист только по Второй мировой... и хотя вполне разделяю мысль о том, что русские не имеют никакого морального права называться коренным населением, – но ви же знаете, все народы переселяются. Нормальная практика. Нельзя переиграть историю. Надо довольствоваться нынешним местом и по мере сил его отстаивать. Так? Согласны? Нет, они хотят куда-то в Россию... Зачем им обратно в Россию? Россия давно не та страна, с землей черт-те что сделали, недра разграбили, леса и те остались только в Сибири, а Сибирь скоро будет китайская... Грибов нет... Правда, что этим летом совершенно нет грибов? Я в детстве очень любил... еще там... мы ведь уехали, мне одиннадцать лет было...

Эверштейн наконец завершил ему одному понятные утрамбовки и перекладки и теперь смотрел выжидательно, давая понять, что им обоим пора.

– Миша, – спокойно спросил Волохов и не думая подниматься. – Вы теперь ослепите себя и пойдете петь народные баллады?

– Воленька, – мягко сказал Эверштейн, – ну к чему издеваться? Я вам поведал одну из легенд моего народа. Вам сейчас мало кто расскажет настоящую хазарскую сказку. Не Павича же читать, этого Маркеса недоделанного... Пойдемте, правда.

– Последний вопрос. Можно?

– А по дороге никак нельзя? – жалобно промямлил хранитель. – Башка раскалывается...

– Нам не по дороге, – терпеливо объяснил Волохов. – Я отношусь ко всему как к обычной гипотезе, сколь бы оскорбительной она мне ни казалась. Нельзя вполне абстрагироваться от национального чувства, но я пытаюсь как могу. Скажите, вам не кажется, что вы совершаете довольно опасную подмену? Что, приписывая хазарам либертарианскую доктрину, вы смешиваете национальность с идеологией? То есть пользуетесь, по сути, уже готовой концепцией прохановцев?

– Но прохановцы абсолютно правы, – изумленно произнес Эверштейн, часто моргая. – Разве это для вас не очевидно? Они в одном врут, в главном, – что это их земля. А что существует непримиримый антагонизм между хазарами и русами – с этим и у нас никто не спорит. Какая может быть дружба у захватчика с захваченным? Я ведь вам докладывал уже: наша нация была этическим понятием... она и вообще не сводится к генетическому коду... В хазары, если вы знаете, принимают всех. Даже и вам путь открыт, хотя вы, я чувствую, не рветесь.

– Вы не поняли, – поморщился Волохов. – Вы просто подобрали национальный псевдоним для убеждений, а это опасно, – вот что я хочу сказать. Это все равно что у нас патриотами себя называют наиболее кровавадные почвенники. При чем тут вообще patria?

– Именно при том, – терпеливо проговорил Эверштейн, так и стоя перед ним с портфельчиком, – что ваша местная любовь к родине предполагает не созидание, а именно и только истребление чужих. У вас всегда война. Оборона рубежей. Потребность в подвиге. Молитвенное разбивание лбов. А если лоб не разбит, так это не молитва. Все периоды созидания относились, увы, к нашим кратковременным засильям. Когда построили всю промышленность? В начале тридцатых. Инженеры Маргулисы из повести «Время, вперед!». Когда Москва ваша эклектическая приобрела свой нынешний облик? В девяностые, при власти ненавистных вам либертарианцев.

– Когда недра грабили с особенной силой.

– Когда крупнейшей нефтяной компанией мира стала русская, – поправил Эверштейн. – Когда месторождения начали наконец научно разрабатывать, а прибыль щедро отдавать на образовательные проекты. Когда в России появилась свободная печать – где, между прочим, и вы сотрудничали квантум сатис, с необременительными историческими очерками и столь симпатичными мне прогнозами. А издавалось все это на нефтяные деньги, которые при вашем патриотическом правительстве перекачиваются в основном на оборонку, не так ли? Очень может быть, что сельское население в то время сокращалось, да и интеллигенции приходилось поторговывать на рынках. А сейчас, когда ваши окончательно запретили эту торговлю, стали преследовать за попрошайничество и отбирать дачные участки у семей призывников-«альтернативников»... стало-таки сильно лучше, n'est-cepas?

– Не спорю, – мрачно согласился Волохов. – Но нельзя в этом не увидеть реакции на ваши собственные художества...

– Которые были нашей реакцией на ваши художества, которые в свою очередь... Это порочный круг, Воленька, и началось коловращение с 862 года, когда на незащитные и плодородные земли хазар случайно набрело мрачное и глупое северное племя, шатавшееся с воинственными целями по всей нынешней среднерусской равнине. Другие благополучно давали им отлуп, а хазары не смогли. Верней, их и хазары лупили, пока в хазарских рядах не нашлось предателя. В семье не без урда. А теперь это глупое и воинственное племя называет себя патриотами России и любое, даже самое мирное дело умудряется организовать как войну – потому что война все спишет. И даже самые умные и терпимые их представители совершенно неспособны к творческой дискуссии, вечно норовят увидеть в оппоненте оскорбителя их национальной идеи и засветить ему в зубы, чтобы он перестал порочить бедных и обиженных нас. Мне пора, Володя. Извините.

– Ну, про бедных и обиженных... – проговорил Волохов, вставая... – про бедных и обиженных, наверное, не надо, товарищ хазар, а? И про способность абстрагироваться от национальных корней... Вы ведь и во мне видите прежде всего руса, похитителя ваших земель?

– Ваши постарались.

– Я одного не пойму, Миша! Вот, возьмите, у меня есть солпадеин – наш, захватнический, но действует.

– Да-да, спасибо, – Эверштейн взял таблетку и проглотил без воды, сильно двинув кадыком.

– Одного не пойму, – повторил Волохов. – Вы сами-то верите в то, что говорите?

– А не знаю, – сказал Эверштейн, глянув на Волохова просто и честно. – Верю ли я, что Иисус Навин остановил солнце? Меня там не было, я историк, работаю с источниками. Я одно знаю: стоит русскому с хазаром заспорить на исторические темы – только титаническая воспитанность или профессиональная близость могут удержать их от кулачного боя. И еще знаю, что ничего у русских на их якобы родной земле не получается. А после всякой вашей революции, как, знаете, в мочевом пузыре при простатите, – что-то остается. Он был очень серьезен и смотрел Волохову прямо в глаза. Волохов молчал.

– Ладно. Пойдемте, пожалуйста. Мне правда пора.

– Да-да, пойдемте... – Волохов пошел с Эверштейном к выходу, но внезапно остановился, пораженный самоочевидной мыслью. – Что-то остается? То есть вы призываете... к окончательному решению русского вопроса?

– Или хазарского, – вымученно улыбнулся Эверштейн.

– Стало быть... «Нам двоим на земле нет места»?

– Почему же нет. Есть. И вам есть. Только вам надо вернуться на это место. Куда-нибудь на Север, который вы так любите. Только не на наш – наш вы уже отдали Абрамовичу, Вексельбергу... и правильно сделали. У них сразу дело пошло. Вы идите куда-нибудь к себе, в заброшенную Гренландию, в землю мирового льда, который так любят ваши наци. Попро-

буйте сделать, чтобы там яблони зацвели. Это вообще большая беда, что у русских нет своего Каганата, – вы не находите? Но когда мы вернемся в Россию – если эти наши безумные ЖД добьются-таки своего, – вы, если хотите, можете заселиться в Каганат. Махнем не глядя, как на фронте говорят?

– Мы подумаем, – в тон ему ответил Волохов.

3

Очнулся он только на улице, машинально шагая к Женькиному дому. Кругом шумел, орал, жрал, хвастался, назначал свидания, ехал на автобусах Каганат – пестрый и избыточный во всем. Странно было бы представить себе все эти яркие глаза и черные волосы среди среднерусской природы, слышать громкую гортанную речь на улицах русских городов. Русские – захватчики... бред собачий! Достаточно посмотреть на то, как похожи эти ненавистные всему миру русы на собственный пейзаж. Эти соломенные волосы, прозрачные глаза, распевная речь-речка... Волшебный язык со смещенными ударениями, повторяющий неравномерные, непредсказуемые подъемы и спуски пыльной русской дороги... Вечная тоска русской песни, тревожной, как островерхий черный ельник на закате... Он вздрогнул и остановился. Мысли, приходившие ему в голову, были шаблонны, как передовица почвенника. Тоска и тревога... Откуда тоска и тревога? Что это за русская тайна, об которую все обламывали зубы? Может, она в том и есть, что...

– Тьфу, черт, – выругался он вслух. Любимый прием всех альтернативщиков: идея внедряется как бредовая, потом ты веришь, потом понимаешь, что только так и могло быть. Любая интерпретация истории верна, пятый пункт «Памятки альтернативщику», которую он же сам вывесил на двери отдела. Пункт раз. Никто не знает, как все было. Пункт два. Все источники в той или иной мере сфальсифицированы. Пункт три. Нет истины, есть лишь ряд асимптотических приближений к ней (Набоков). Пункт четыре. Фоменко и Носовский – дураки, но их дело не пропало. Пункт пятый: смотри выше. Шестой, или главная логическая теорема. Если какое-либо утверждение является верным, то верно и обратное. Седьмой: забудь все прочитанное и марш работать.

В конце концов, каждый верит, как хочет. Им проще верить так. Ну и милости просим. А что такого? Были хазары на Руси, кто бы спорил. Кого там Женька упоминала? Кестлера? Надо прочесть Кестлера... Да, были. Но Каганат преувеличивать не следует. Гумилев уже на этом обломался, выдумав, по сути, целое государство. А у него любой школьник десять подтасовок на главу найдет. Да и потом, разве можно было так защищать чужую страну, как мы во время последней войны?

Можно, сказал внутренний Эверштейн, которого Волохов тут же попытался задушить. Еще как можно. Вошедшая в кровь и плоть привычка распоряжаться собственным народом, как чужим. Все это надо строго продумать. С этим надо серьезно спорить, как со всякой концепцией национальной исключительности. Но ведь они не претендуют на Германию, тут же возразил себе Волохов. Они не требуют Италии, им не нужна Польша. Им с избытком хватает России, им нужна она. Может быть, потому, что – как пишет та же «Позавчера» – они уже захватили все остальное, а мы – последние, кто сопротивляется? Да нет. При желании можно представить их сосуществующими с немцами, итальянцами, чехами. Даже с поляками, хазарофобами, каких поискать. Только с нами у них вечная неувязка, и даже сейчас я чуть не бросился на Эверштейна, несчастного Эверштейна с птичьей грудью... Господи, что за бред!

Ночь, ночь – а ведь еще час назад по улице тек пыльный розовый зной, смотри Бабеля. Кто писал по-русски лучше Бабеля и Зоценки, в чьем хазарстве не сомневалась Ахма-

това? А сама горбоносая, черноволосая Ахматова? Мне от бабушки-хазарки были редкостью подарки... Я никогда ничего не дарю Женьке. Подарить бусы, дешевые, дурацкие, на память? Я ведь скоро уеду домой, к своим захватчикам, а что у нее останется от меня? Да и надо ли ей? Он поймал себя на том, что думает о ней с явной, ревнивой враждебностью. Ревновать ее случалось ему и прежде, но чтобы так злобно... Боже мой, так вот чего добивался Эверштейн! Ну конечно. Как все просто. Он ревнует и пытается вбить клин – самый простой, национальный; и как я сразу не врубился!

Сзади оглушительно бибикнули. Он подпрыгнул и оглянулся: Женькина древняя «мазда» стояла у тротуара.

– Я уже минут пять за тобой еду. Ты что, не чувствуешь ничего? Где ты торчал столько времени?

– Это ты где торчала? – отозвался он, чувствуя, как с первым звуком ее голоса испаряются враждебность и подозрительность; тоже мне – «Мой сексуальный партнер, мой классовый враг». Вот Женька, какой еще искать правды?

– Я-то на репортаже, а вот ты-то?

– А я-то у Эверштейна, – с отвращением признался он, с трудом, при своих почти двух метрах, влезая в машину. – Устала?

– Да нет, надоело. И что, просветил тебя Эверштейн?

– Сверх всякой меры. Женька, скажи мне честно, он в тебя влюблен?

– Эвер? – Она расхохоталась и тронула «мазду» с места так, что Волохова бросило на спинку сиденья. Он никак не мог привыкнуть к ее манере водить – да и все тут гоняли как сумасшедшие без всякой на то причины, это странно сочеталось с пресловутой левантийской ленью. – Эвер влюблен и Россию и больше никем не интересуется. Не представляю себя с Эвером. Да ну его к черту. Ты есть хочешь? Я голодна, как сорок тысяч братьев.

– Хочу, – сказал Волохов и понял, что голоден, счастлив, влюблен, как сорок ласковых сестер, и знать не хочет про территориальные споры тысячелетней давности. Мир, дружба, жвачка, make love, not wars. Как смел он забыть все это? Колдовство, чистое колдовство. Ужо тебе, чертов гипнотизер! Ты у меня пойдешь в Жадруново.

Глава вторая

1

По большому счету у Волохова не было еще случая, когда он по-настоящему, ни в чем себе не солгав, мог бы жить с женщиной в одной квартире, разговаривать обо всем на свете и при этом постоянно ее хотеть. Что-то ему подсказывало, что дело тут нечисто. Это было частью всемирного заговора. Он никогда еще не рассматривал Женьку как представительницу чуждого мира. Ощущения были новые, неизведанные и не сказать, чтобы вовсе неприятные.

– Что-то ты нынче расстарался, – сказала она подозрительно. – Еще немного, и я бы заорала. А это дурной тон, нет?

– Будто трахаешь дочь врага, – отозвался он.

– Это откуда? – Она мгновенно стряхнула оцепенение и уставилась на него любопытными сощуренными глазами. Горел ночник. Волохов лежал на животе, свесив левую руку на пол.

– Лимонов. Как он хороводился с богатой девочкой в красном платье. Снял ее в каком-то клубе году в девяносто пятом, а очерк напечатал в «Экзайл». Чувство, будто трахаешь дочь врага.

– И почему ты вспомнил?

– Ну, тут сложный ход. Я думал: вот, если все человечество действительно живет на чужих, захваченных местах... где гарантия, что каждый из нас не спит с дочерью врага? Не бери в голову.

– Но почему? Ты все правильно подумал. В нашем случае особенно интересно.

– Женька, – сказал Волохов мягко и по возможности терпеливо. – Если ты играешь в эту ерунду – дело твое. Она в самом деле очень заразительна. Я знал в Москве одну толкиенистку, так она даже говорила о себе в мужском роде – я пошел, я сказал... Но меру-то надо знать, верно? Не можешь же ты всерьез полагать, что Россия – ваша земля?

– Зачем мне всерьез полагать, – пожалала плечами Женька. – Я знаю, и все. И ты знаешь, только не хочешь себе признаваться.

– Ага. И вся мыслящая Россия догадывается.

– Вол, но это азбука. Об этом тома написаны.

– Никаких томов я не читал.

– Как я тебя люблю, моя радость. «Чего я не знаю, того не существует». И все вы, русские, таковы, прости дуру за обобщение.

Больше всего Волохов боялся, что прорвется высокомерная снисходительность, как сегодня у Эверштейна; с ним он сдержался – кто ему Эверштейн?! – но на Женьку наорал бы обязательно.

– Ну не злись, не злись на меня. Я не знала, что ты так невинен в этом отношении. Я тебя познакомлю с людьми. Очень милыми и совершенно нормальными. Ты увидишь, что это решительно ничем тебе не угрожает. Своего рода движение за возвращение на Родину, не более того. Ну считай, что у нас эмигрантский союз вроде евразийцев. Только без шпионажа.

– Нет, я не к тому... – Волохов потянулся за бутылкой «Липтона»: духота была невыносимая, и как он в прежние ночи не замечал ее? – Я вдруг почувствовал... черт его знает. Я просто не понимаю теперь, как ты можешь со мной...

– Тебе разонравилось?

– Господи, ну о чем ты вообще?! Ну представь, что я русский, а ты немка. Или, того хуже, наоборот. Каково тебе с завоевателем, что ты должна испытывать – вот чего я понять не могу.

– Ну, Вол, прости меня, пожалуйста, но до тебя – пока бедная девушка еще не встретила свою true love, – здесь несколько раз ночевал один немец, такой себе немец, хорошая паровая машина. И ничего, никакой катастрофы, ни даже мстительного чувства...

– Ах да, я понял, – сказал Волохов гораздо злей, чем ему бы хотелось. – Утонченное удовольствие. Виктимность и реванш в одном флаконе. Особенно в моем случае, когда мы видим поработителя столь поработенным, да и на родине его, прямо скажем, без вашего хозяйского пригляда все до такой степени ай-лю-лю...

– Во-ло-дя! – сказала она отдельно и с такой тоской, что он сразу устыдился. – Ну что это такое, в конце концов! Все это сделали не я и не ты, мы оба заложники! И зачем вообще выяснять отношения, когда времени так мало... можно сказать, вообще уже нет...

– То есть после моего отъезда, если я правильно понял, все будет кончено? Будем друг другу благодарны за миг блаженства и не станем его омрачать долгими прощаниями, так?

– Слушай! – Она резко села на кровати. – Я, кажется, не давала тебе никакого повода... вообще... что такое?! Ты один раз поговорил с Эверштейном – и теперь всякое мое слово истолковываешь наихудшим для себя образом, так?

– Похоже, что так.

– Я не о твоём отъезде говорю! У нас вообще мало времени, вообще, ты понимаешь? До того момента, когда ты знать меня не захочешь, а если и захочешь – так все равно уже ничего не получится. Какая разница, сколько ты раз до этого успеешь приехать, и сколько я

к тебе. Я бы с тобой жизнь прожила и не устала, у нас могла с тобой быть огромная жизнь, понимаешь? Я с первого твоего слова, дурацкого, выпендрожного, когда ты нес там какую-то самодовольную чушь про свой институт, поняла, что – вот жизнь, вот то, что меня заставило бы кинуть к чертям все это и ни о ком больше не думать... Бывают такие ужасные вещи, я не думала, что их надо проговаривать вслух! – Она говорила быстро, сердито, злясь на себя и на него: признания вообще были не в ее стиле. – Я все эти ночи... и частично дни... пытаюсь тебе втолковать доступными мне способами, что никого, кроме тебя, мне не было бы нужно на свете, ни в моем fucking прошлом, ни в моем fucking будущем.

– Что fucking, это точно, – заметил он и получил подзатыльник.

– Русская свинья... Ты ни черта не хочешь понять. Есть вещи, которыми я не распоряжаюсь, есть история, в конце концов... ты что-то должен в ней понимать, если не врешь... Я не знаю, сколько у нас там – месяцев, лет... Знаю, что все ненадолго, ну и только. И не говори со мной больше об этом. У нас с тобой не как у русского офицера с немкой, а как у Монтеки с Капулетти, если хочешь. Когда мы придем, я тебя пощажу.

– Женька! – Волохов уставился на нее, уже спокойную и почти веселую. – Ты что... всерьез думаешь, что вы придете?

– А куда же мы денемся, Вол? Каганату пыхтеть осталось совсем мало. Каганат просто не протянет ближайшие десять лет. Да и у вас там дела не лучше. И после этого у нас с тобой так же ничего не получится, как у аристократки с разночинцем, которые случайно росли вместе, а потом встретились году в восемнадцатом. Есть вещи непреодолимые, еще удивляться будешь.

– Уже удивляюсь.

– Чему? Глубине моего цинизма?

– Это не цинизм, это ум. Ты умная девочка.

– Спасибо, ваша светлость.

– Скажи... а меня тогда не будут пускать в кафе, да? Как представителя некоренной национальности?

– Что за ерунда. Здесь же тебя пускают?

– Здесь не все рассуждают, как вы с Эвером.

– Во-первых, здесь просто не все признаются. А во-вторых, возвращаться ведь тоже будут не все. Кто-то наверняка останется или поедет ассимилироваться на историческую родину. В Марокко там... Но среди ЖД, между прочим, не только бывшие наши. И англичане есть, и даже, не поверишь, один мулат.

– И что со мной будет в случае вашей победы? Если до нее, конечно, дойдет?

– А я не думаю, что тут может быть окончательная победа. Разве что вы надумаете устроить себе наконец какой-нибудь русский Каганат и все уедете восвосяси, с евразийцем Дудугиным во главе...

– Ага. Возродим русский иврит, на котором говорило наше несчастное северное племя...

– Что-нибудь вроде церковнославянского. Представляешь себе государство, где все говорят на церковнославянском? Газеты выходят: «Аще же американский империализм восхоцет нас отымете... коемуждо... лайя...»

Они захохотали.

– Ты уходишь от разговора, – сказал Волохов. – Я так и не понял, что будет с некоренным населением.

– Я же тебе сказала. Дойдет до открытого столкновения, как уже много раз доходило. А окончательной победы, боюсь, не видать. Но допустим... – Она мечтательно закинула руки за голову. – Допустим, что мы победили. Тогда лучше всего тебе будет уехать.

– Куда? В Каганат?

- Почему в Каганат? Мир большой...
- И что, все уедут? Старики, дети?
- Ну, наши старики и дети ехали и не жаловались...
- Вам отвели Каганат.

– Нам отвел его Сталин, сыскал такую резервацию – без него бы до сих пор ничего не вышло. Но эта резервация доживает последние дни. Сколько ее ни возделывай, а своей земли она не заменит...

– Это и есть ваша историческая страна! Здесь происходила вся ваша история! – Он сам не заметил, как опять начал орать на нее.

– Ну, далеко не вся. Ты что же, действительно думаешь, что здесь – наша единственная родина? Здесь наша колыбель, а потом началось множество отдельных историй... Мы выиграли конкурс на эти земли. При нас они чувствовали себя лучше всего.

– Я очень хорошо помню, как они чувствовали себя при вас...

– И что? По крайней мере тебе не затыкали рта. Только не надо мне рассказывать про миллионы голодающих стариков, вынужденных торговать малосолевыми огурцами. Сегодня им и огурцами торговать не дают. Мы для спасения страны вынуждены обычно делать какие-то крайние вещи. Революцию. Приватизацию. Это шоковые меры, но они спасительны – иначе больной просто сгнил бы заживо, ты вспомни, в девяностом ведь на прилавках стояло одно сухое молоко!

– Я был дитя.

– А меня вообще не было, но газеты-то не спрячешь! Мы приходили и делали то, что полагалось бы сделать вам, – но вы, конечно, никак не могли взять на себя исторической ответственности! Вы говорите: хазары все погубили! Хазары сделали величайшую из европейских революций, произвели гигантскую модернизацию, построили промышленность, изобрели две бомбы, а когда вы вернули себе власть и благополучно все загноили, снова вынуждены были спасать положение и перестраивать страну! Потом вы с этим вашим дирижером опять все погубили местничеством, пьянством и воровством – и опять у вас виноваты хазары, хотя благодаря им вас по крайней мере стали в общество пускать! Ты не заводи меня лучше, морда, а то я тебе много чего порасскажу про вашу славную историю.

– Особенно про то, как вы выиграли войну, – сказал Волохов, отлично чувствуя, что он не должен был этого говорить.

– Тебе напомнить, среди какой народности самый высокий процент Героев Советского Союза? – Она даже пристукнула кулаком по подушке. – Или, может, рассказать, кого немцы принимались истреблять в первую очередь?

– Они и у себя вас истребляли в первую очередь... И у норвежцев... И у французов...

– Но, может быть, в Европе хоть где-то было что-нибудь похожее на Бабий Яр?

– Ничего похожего на Хатынь в Европе тоже не было...

– Вол. – Она отвернулась к стене. – Спокойно. Слушай, войну давай не трогать. Там все настолько страшно... и настолько еще не зажило... Я объясню тебе когда-нибудь... как сама это понимаю. Ты же не можешь не знать эту нашу любимую версию о том, что именно хазары стравили русских с немцами, а вообще-то они были лучшими друзьями. Два естественных режима, похожих до мелочей, не ужились на одном континенте. Вот и все, Вол. Не надо мне доказывать, что фашизм от коммунизма чем-то серьезно отличался.

– Он многим отличался, – упрямо сказал Волохов. – Фашизм – средневековая мистика, а коммунизм – библейская утопия, без сатанизма и эзотерики. Но допустим, что речь идет не о теории, а о тоталитарной практике. Тут не без сходств, да. Разница в том, что при ненавистном тебе сталинизме у хазарства был шанс, почему Фейхтвангер и написал свой известный панегирик.

– До поры – был, – сказала она, все еще лежа лицом к стене. – А потом не стало. А был он, между прочим, только потому, что революция, в результате которой стал возможен твой любимый сталинизм, была в огромной степени хазарской – и позиции наши вплоть до сорок восьмого были еще кое-как сильны...

– Слушай, мать, прости меня. Я больше не буду, – сказал вдруг Волохов, не отрывая взгляд от ее лопаток. – Я правда скоро уеду, ну нельзя же в постели с главной женщиной своей жизни обсуждать двадцатый век. Для выяснения отношений нам даны многие другие возможности. Не сердись, честное слово.

– Я не сержусь.

– Я слышу, что сердишься.

– Просто есть вещи, которые будут болеть всегда. Просто я знаю, как много на самом деле общего у вас, со всем этим вашим варяжством-гуннством, и у них... И вот в такие минуты мне действительно кажется, что ты чужой. Хотя и прекрасно знаю, что...

– Не чужой, не чужой, – Волохов ее обнял и почувствовал, что она дрожит. – Что с тобой, Женька?

– Я боюсь. Вдруг мне с тобой воевать, к чертовой матери...

– Ну, ну. До убийства не дойдет. Что, вы устроите нам русский погром? Будете вспарывать перины?

– Нет, конечно. Все это ерунда. Но могу я быть немножко человеком? Могу я элементарно бояться за тебя? Ты такой дурак. Ты до такой степени русский, что никогда ничего не поймешь. И надо мне было попасться... мало, что ли, хорошеньких хазарят...

2

Этих хорошеньких хазарят она ему показала, как обещала, в самом скором времени. Публика была странная, отчасти знакомая ему по Москве; странной она казалась ему только теперь, когда он пытался представить хазар представителями коренного населения. Большинство ЖД – по крайней мере тех, которых ему предъявила Женька, – были не старше сорока, но это как раз и понятно – не могла же она слишком выпрыгивать за границы своей возрастной категории. Чем больше Волохов на них смотрел, тем меньше их любил – и тем больше ненавидел себя за это. Выходило, что Эверштейн его вроде как инициировал (само слово «инициация», бесперечь встречавшееся как в русских эзотерико-патриотических изданиях, так и в хазарском талмудическом литературоведении, Волохова раздражало до головной боли: в нем была первобытная магия, риффенштальская любовь к ритуальным танцам у костра – странно роднившая Дудугина с Лоцманом). До последнего времени Волохов и помыслить не мог, что когда-нибудь хазары станут так раздражать его; но чем чаще ходил он с Женькой на сборища ЖД, тем яснее замечал в себе поначалу тайную, пиковую, а потом все более явную недоброжелательность. И понять, чем его так раздражала эта тусовка, он до поры не мог, отделяваясь внешними придирадками: так Писарев ругал Пушкина за сюжетные ляпы, хотя бесила его, шизофреника и аскета, пушкинская легкость и успешность в делах любовных. Он отмалчивался в ответ на Женькины расспросы, понимая, что она обидится, – а главное, не умея сформулировать собственных претензий к этим добрым и веселым, слишком добрым и слишком веселым ребятам.

Дело было, конечно, не в том, что он видел в них будущих победителей и своих гонителей: надежда на реванш ЖД представлялась ему чем-то вроде ожидания мессии – удобной, почти ни к чему не обязывающей национальной конвенцией. Бытие нации получало как бы отсроченный смысл. Дело было в ином: его раздражала именно эта веселая легкость, гостеприимство, вечная игра – отношение к миру, естественное для балованного ребенка. Было

чувство, что все они выросли вместе, в одной системе паролей, в пространстве цитат; некоторые так и говорили цитатами. У всех были прекрасные отношения с родителями. Все принадлежали к советской элите – то есть и в России чувствовали себя очень неплохо; некоторые гостили в Каганате, иные по полгода проводили здесь и там, а кое-кто вообще проводил большую часть времени в беспечных гастролях по всему свету. Все говорили, будто постоянно перемигиваясь: строчки, фамилии и филологические термины служили для этой же цели. Для непосвященного разговор был темен: непосвященному деликатно указывали на место. Волохов был более или менее в теме: классику читал, историю знал, в РГГУ не учился, но на лекции туда бегал в порядке самообразования; многие фамилии и цитаты, впрочем, ни о чем ему не говорили, но чужим он чувствовал себя не поэтому. Отчасти причина была в том, что с русской культурой – особенно с той ее частью, которую создали хазары, – все ЖД были подозрительным образом запанибрата. Это была их среда, где они распоряжались весело, уверенно, по-хозяйски. Он даже ловил себя на том, что само слово «хозяин» звучало для него теперь как «хазарин». Он завидовал им дико, страстно, не признаваясь в этом и себе.

Вообще он заметил вдруг, что русские почвенные соцреалисты, неумоимо описывавшие такие же сборища московской богемной молодежи, испытывали, вероятно, те же чувства и наталкивались на то же веселое недоумение в ответ: ну чего беснуетесь? Это была реакция будущих победителей, ответ сильной стороны, не устаивающей противника даже злобы. Просто Кочетову и Шевцову не хватало таланта по-настоящему их зацепить, изобразить среду: даже карикатуре необходима точность, одной злобой сыт не будешь. Ну, например: прежде всего Волохова бесило их высокомерие, но в чем проявляется это высокомерие – он не объяснил бы.

Возможно, дело было в том, что с ним не спорили; он произносил реплику, возникало ироническое, перемигивающееся молчание, кто-то весело говорил: «Да ладно», и разговор менял русло. Захватчик, что взять. Никто не говорил ему грубого слова. Его просто не принимали всерьез, тогда как между собой спорили яростно, подчас забывая об его присутствии. В первый же день, когда Женька знакомила его с ЖД, он стал свидетелем спора о Каганате. Тридцатилетняя переселенка Елена, оказавшаяся тут пять лет назад по беспримесно идейным соображениям, наскокивала на сорокалетнего, тихого, очкастого программиста Илью, приехавшего в гости. В Москве они принадлежали к одному кругу и здесь, разумеется, увиделись – а увидевшись, сразу заспорили.

– Только здесь я стала человеком, ты понимаешь? – кричала Елена. – Ты можешь сколько угодно врать себе, что не боишься жить там, но ты же не можешь не видеть, что все они ненавидят тебя, и ты делаешь все, чтобы им понравиться! Каждый твой шаг там – заискивание. Ты хочешь быть, как они, говоришь, как они, пьешь, как они, ты готов ассимилироваться до полного скотства, ты хочешь стать даже большей скотиной – и все это время смотришь на них с мольбой: скажите, я уже достаточно надругался над собой, чтобы вы мне позволили тут пожить?

Все это она выпаливала на страшном и очевидном самоподзаводе, жадно куря, размахивая сигаретой, бешено жестикулируя, и голос у нее был низкий, страстный, идеально подходящий для оплакиваний и проклятий, – и, видя такую страстность по столь абстрактному поводу, Волохов не верил ни одному ее слову.

Илья флегматично отвечал, что его предки жили на этой земле и он не понимает, почему должен оставлять ее на откуп мерзавцам и бездарностям; если все уедут, существование этой страны будет уже вовсе нечем оправдать... «И прекрасно! И пусть все уедут! Тогда, может быть, ее перестанут щадить ради нескольких праведников, и с ней случится то, что давно должно случиться!» На это Илья грустно улыбался и отмалчивался. Но Елена не переставала наскокивать на него, размахивать руками, дымить, – ее не остановили даже

тихие слова одного из ЖД, высокого, мрачного красавца с томными восточными глазами: «Солнце, не забывай, что это все-таки не их страна». Они часто обращались друг к другу так – «солнце».

– Мне плевать, чья это страна! – крикнула Лена, переключив ярость на мрачного юношу. – Я живу мою жизнь, и я буду жить ее там, где мне не приходится каждую секунду выпрашивать себе право на существование!

– Живи свою жизнь, – спокойно отвечал юноша, – но не навязывай всем бегство как единственно верный путь.

– Почему ты говоришь «бегство»?! – ярилась Лена. – Я выбрала жизнь среди моего народа, я вошла в этот народ, я расчистила в себе свою душу, которая от долгого страха почти исчезла, – какого хера я должна была делать там, где меня все равно никогда не признают своей?!

– А тебе таки нужно их признание? – спросил маленький, ехидный, налысообритый, с двумя серьгами в левом ухе. В России он был отчаянным энтузиастом дальних походов и фотографом-любителем, в Каганате увлекся парапланами. – Ты хочешь, чтобы тебя любили, да, Лена?!

– Да! – И она расхохоталась, и по легкости перехода от трагической ярости к беззлобному хохоту Волохов окончательно себе уяснил, что она ни на минуту не переставала играть; она принадлежала к тому типу, который он ненавидел с ранней юности – именно за фальшь, за вамп, за штамп. Все было невыносимой пошлостью – и жаргон, и сигарета, и жесты, и страстная защита собственного достоинства, которое только теперь, среди родного народа, развернулось в полную силу. Волохов с ужасом понял, что женский тип; всю жизнь им ненавидимый, был по преимуществу хазарский. Он даже головой замотал, чтобы вытрясти из нее жуткое подозрение: в нем явно просыпался захватчик, он уже готов был произнести вслух инвективу не хуже той, что вылетали из кочетовских партийных писателей, попадавших на сомнительные вечерники со всякой бугой-вугой и пепси-кокой. Женька посмотрела на него в изумлении. «Башка трещит», – шепнул он ей на ухо.

После Лены, ее неостановимого трепа и истерических наскоков на собеседника Волохову были противны все собравшиеся, и в первую очередь он сам, потому что ему тут делать вовсе уж нечего. Поучаствовать в споре он все равно не мог – Каганат, увы, не был землей его предков, с ассимиляцией в России проблем тоже не возникало, а всерьез возражать тем, кто считал эту землю своей, он не желал, чтобы этой серьезностью не придать бредовой гипотезе статус реальности, не позволить пузырю земли надуться и выпить окрестный воздух. И эти ухмылки... Волохов еле сдерживался, чтобы не наговорить резкостей, после которых его так же деликатно, мягко, сочувственно выпроводили бы за дверь. Они были вежливые ребята. Они мягко, но решительно вступались за честь своих девушек. Их девушки могли говорить любые резкости, но тот, кто осмеливался им возразить, должен был извиниться перед девушкой. Девушку выставляли вперед, как свободу на баррикадах. Это тоже был их метод – самые сильные аргументы исходили от слабых, от женщин и детей, от тех, с кем нельзя воевать. С этим был как-то связан их культ матерей, мамочек: все, что говорили матери, – священо. Поэтому устами матерей, в том числе солдатских, так часто озвучивалась в предвоенное время самая отчаянная противогосударственная риторика.

В остальном ЖД были очень веселой публикой. Они много танцевали под местную музыку – заразительную и яркую, хотя, на волоховский вкус, несколько однообразную, как однообразна яркость восточного базара. И в этом их «веселитесь!» было тайное знание о том, что чем хуже им будет – тем лучше они потом на этом сыграют; каждая новая беда добавляла аргументов в копилку и усиливала чувство тайной правоты; вместо «радуйтесь!» им следовало бы припевать «злорадуйтесь!». И на лицах их во время танца – страстного, почти ритуального – он читал это же сложное сочетание отчаяния и восторга: так нас! так!

о, как вам все это припомнится потом! Взглянув в родное Женькино лицо – закинутое, со сдвинутыми бровями, с глазами, зажмуренными от удовольствия, – он и в нем все это увидел; и страшно было подумать, что таким же это лицо бывало в любви. Ох, как мне еще за это отомстится, понял он. Как всегда, почувствовав его взгляд, она открыла глаза и хитро ему подмигнула.

Однажды она повела его на квартирник Псиша Коробрянского. Псиш был ему немного известен по Москве – мультиинструменталист, выступавший в продвинутых клубах, где танцевальные вечера чередовались с филологическими и политологическими дискуссиями (впрочем, на филологических и политологических давно выступали одни и те же люди, ибо влияние политолога на политику скукожилось до влияния интерпретатора классики на текст: обогатить еще можем, но изменить – уже никак). Коробрянский жил между Москвой и Каганатом, много ездил по провинции, играл на синтезаторе, гитаре, флейте, позвякивал бубенчиками, пел то на идише, то на древнеславянском, и в Москве его считали очень заводным. Концерт он давал на квартире своей страстной и, кажется, неплатонической обожательницы Маши Голицыной, считавшейся отпрыском сразу двух аристократических родов: кто-то из князей Голицыных в двадцатые годы скрывался от грозной Чеки под чужой фамилией, служил в учреждении под началом прекрасной еврейки Лизы Каган, влюбился в нее, женился, взял ее фамилию, и гены русской аристократии, смешавшись с генами самой что ни на есть хазарской, дали блистательное потомство. За эту блистательность Лизе простили даже брак с захватчиком. ЖД вообще были снисходительны к смешанным бракам, вот и Женьку не осуждали за Волохова – вероятно, потому, что это тоже было оружием грядущей победы.

Машина старшая сестра преподавала в Штатах, младший брат был в Москве экспертом по живописи двадцатых; он был одним из кураторов антирелигиозной, как называл ее он сам, выставки, на которой экспонировался, в частности, Христос в потеках кока-колы с подписью «Сие есть кровь моя». За этот концептуальный жест младший брат Маши чуть не угодил под суд, зато получил приглашение преподавать сразу в трех крупнейших университетах Европы. В одном из них – Гейдельбергском – он сейчас и читал цикл лекций «Ритуал и стиль».

Сама Маша была крупна, громогласна и ассоциировалась у Волохова с миндалем – миндалевидные темные глаза, миндалевидные красные ногти и духи с запахом горького миндаля, да и пила она амаретто. «Здравствуй, мать!» – «Здравствуй, солнце»; они с Женькой тут же зашебетали о неведомых Волохову общих знакомых. В углу обширной комнаты, увешанной венецианскими масками (Маша увлекалась театром и сама недурно делала из папьемаше портреты приятелей и классиков), настраивал гитару сам Псиш – тоже крупный, полный детина с аккуратной лысиной на макушке и длинными темными кудрями вокруг; он ласково улыбался всем входящим. На запястье правой руки у него были привязаны бубенцы, это напоминало тфелин – хазарский мешочек с молитвой. Сам Псиш предпочитал называть свои песенки псалмами, гимнами, а то и просто молитвами, да большинство их и были выдержаны в стилистике панибратской беседы со снисходительным, чудаковатым, но властным папашей, с которым можно поторговаться и даже поспорить, пока он благодушествует. В них, однако, как-то подспудно чувствовалось то самое, что так мучило Волохова во всех хазарских планах: ощущение чужой временности и своей вечности.

О происхождении псевдонима московского концертюалиста, как называл себя он сам, говорили разное. Псиш – это как бы душа, но мужского рода, снисходительно пояснила Маша; Короберъ – название хазарского местечка, откуда происходили предки Псиша. Он проповедовал – хотя и шутовски с виду, но в душе, как уверяла Маша, вполне искренне – возвращение именно в местечки, штетл, с их особой культурой. Его сетевое сообщество собирало воспоминания о тамошних традициях и фольклоре. Псиш уверял, что идиш органичнее и попросту понятнее иврита: «В конце концов, – объясняла Маша, – это язык хазар, вынуж-

денно ушедших в Европу, язык ашкеназов, как доказано у Кестлера, живое свидетельство нашего изгнания». Были, правда, люди, утверждавшие, что идиш древнее всех европейских языков – это истинный первоязык Иудеи, на котором говорили повседневно, а богослужебные и священные тексты писались на иврите, бывшем достоянием немногих жрецов. Сначала идиш – удобный и рациональный – усвоили римляне, поработившие Иудею, а потом от него произошли все романо-германские языки.

Псиш не заходил так далеко, считая, что идиш был вынесен хазарами из Германии, где они укрылись после разгрома. Ему было жаль терять этот чудесный жаргон, на котором написаны лучшие хазарские тексты от Паркиша до Фингера. Древнеславянских песен у него было меньше – Маша объясняла их появление особой толерантностью Псиша. Да, захватчики, но в те времена в их боевом примитивном фольклоре было хоть что-то огненное. «О, Велесе! Я в лесе», ну, и прочие языческие прибабасы.

Все это Маша излагала еще до концерта, при первом знакомстве. Теперь Волохов созерцал псалмопевца лично. Тот представлял новый альбом «Душечка», названный так по песенному обращению к собственной душечке, Психее, Псише. Душечка вызывала у Псиша чрезвычайно теплые чувства. Он по-розановски предлагал ей: «Гуляй, славенькая, гуляй, тепленькая!» – после чего повторял то же самое на идише, а в конце обращался уже к «божечке», прося «потерпеть немножечки». Прочие песни из альбома поражали языковым смешением – старославянизмами, французским и английским. Псиш, сообразно собственной концепции, стирал границы. По неотступным просьбам собравшихся была исполнена «Пизда-матушка» – «моя главная песня о Родине», как пояснил Псиш под общий хохот. «Ах, Пизда-матушка, Пизда Ивановна, – пел он глубоким крестьянским басом, – ах, сколько ты есть глубока, ах, сколько ты есть широка... пи-и-зда... пиззз-да...». Далее перечислялось все, что в ней помещается, включая Русь, Каганат и самого исполнителя.

После концерта Псиш с той же ласковой улыбкой выслушивал восторги. Волохов молчал, чувствуя себя совершенно неуместным на этом празднике жизни. Восторженный толстяк Ося Бакулин в порядке тоста зачитал собственное трехстраничное эссе о Псише – разумеется, с подробно прослеженной «интертекстуальностью», писанное на тартуском птичьим языке с вкраплениями мата.

– А вам понравилось? – спросила Маша.

– Очень не понравилось, – сокрушенно произнес Волохов. Он ответил тихо, но в этот момент эссеист как раз замолчал, набирая воздух, и все услышали неприличный ответ.

– Один из всех нашелся честный человек, – ласково сказал Псиш, снимая неловкость. За столом засмеялись, но Маша не на шутку обиделась.

– Что, действительно? – переспросила она.

Волохов понял, что терять нечего.

– Очень, – кивнул он. – По-моему, это совсем плохо.

– По-моему, тоже, – радостно сказал Псиш. – А они никто не хотят верить.

– Да ладно, – сказал Волохов. – Вы же так не думаете, Псиш. Вам очень нравится. И все у вас получится.

– Что получится? – не понял Псиш.

– Все. Ну, вот это. Все, что вы хотите сделать с литературой.

– Я ничего не хочу делать с литературой, боже упаси! – поклялся Псиш, прижимая руку к груди и звеня еще не снятыми колокольчиками.

– Нет, хотите. Вы хотите, чтобы она вся была такая, по крайней мере большая ее часть. Я уверен, что для себя – и, может, для десятка избранных – вы пишете что-то настоящее, тяжеловесное и торжественное, настоящие псалмы. А для остальных – вот это. Чтобы любое серьезное высказывание воспринималось как моветон.

– А вы откуда, простите? – спросил опомнившийся эссеист.

– А я из Москвы, простите, – ответил Волохов.

– А... ну да. Ну я тоже из Москвы вообще-то, – улыбнулся эссеист, предлагая не придавать его вопросу серьезного значения. Так в компании горожан разговаривали бы с безнадежной деревенщиной, которая, однако, может врезать – так что опускать сельского гостя надо так, чтобы он ничего не понял. Волохов вдвойне обозлился на себя за идиотскую ситуацию, в которую влип.

– Все отлично, Псиш. Мне в самом деле было интересно.

– Всегда пожалуйста, – кивнул концертуалист.

– Нет, погодите! – Маша завелась не на шутку. – Если вы позволяете себе так высказываться, хотелось бы, в конце концов, каких-то аргументов...

– Это вы мне позволяете так высказываться, – грустно сказал Волохов. – Вы же меня спросили, верно? Я вам ответил.

– И на чем основана такая оценка? Я просто хочу понять, в конце концов...

– Да не оценка это! – поморщился Волохов. – Это мнение мое. Имею я право на мнение?

– Маша, ну что в самом деле, – сказал томный юноша из угла. На каждом собрании ЖД был томный юноша – или один и тот же? Волохов вскоре научился распознавать эту хазарскую наступательную триаду: начинает девушка; за девушку вступается томный; после томного вступает решительный и завершает дело. – Ну не понял человек, чакры какие-то закрыты у человека... Не будем же мы здесь, сейчас, за столом, чистить человеку чакры?

У Волохова появилось и, по счастью, тут же пропало желание начистить кое-кому чакры, хотя он никогда прежде не любил драться и презирал тех, кто в пылу спора начинал хватать оппонента за грудки.

– Не будете, конечно, – вступила Женька. – И не будете разговаривать с гостем в таком снисходительном тоне, ладно, Рома?

– Ну, родная... – протянул Валя. – Почему я не могу сказать? Человек высказался довольно резко, человек предполагает же, наверное, что с ним могут не согласиться... Если бы человек читал хотя бы Гадамера, он бы подумал, прежде чем ляпать...

– Он высказался, потому что его спросили. А что будет, если я скажу то же самое? Прости, Псиш, но мне тоже совсем не нравится то, что ты сейчас делаешь. Когда у тебя был блюзовый период, это было мило и смешно, а это уже совсем не смешно и не мило.

– Так. – Псиш посмотрел на нее серьезно. – Я чувствую, что напросился наконец на обсуждение. Мальчики, девочки. Я для того и показываю вещь, чтобы услышать мнение. Никаких обид, честное слово.

– Но тогда надо хоть разговаривать, как серьезные люди! – фальцетом потребовал эссеист. – Нужен элементарный уровень разговора! Что это – нравится, не нравится? Коробрянский предъявил законченную работу, надо судить о ней хотя бы со знанием контекста...

– Ося, – с истинно псишевской ласковостью сказал Волохов. Он уже начал соображать, как бить врага его же оружием. Нужней всего здесь была непробиваемая самоуверенность. – Вы мне не скажете, зачем читать Гадамера?

– Ну, если вы не понимаете, – Ося пожал плечами и возвел очи горе.

– А вы представьте, что не понимаю. Что я вообще о герменевтике впервые слышу. Представьте себе, многие серьезные немцы Хайдеггера не читали, и ничего, никто не умер. Вы мне можете внятно объяснить, что такого сделал Гадамер? Или вам просто слово нравится?

– Гадамер – гадомер, измеритель количества гадов, – в последний раз попытался Псиш перевести все в шутку.

– А, – сказал Волохов. – Ну да, конечно. Ада мэ. Любитель садомер. Вопрос снят, всем спасибо.

– Я не готов сейчас к лекции, – фальцетом сказал эссеист. – Никто не предупреждал, что будут дети...

– Ну да, ну да, – еще ласковой сказал Волохов. – Все дети, а вы взрослые. Хотите, я вам сейчас скажу, Ося, что такое ваша герменевтика, и ваш Гадамер, и в особенности ваш усатый Лоцман? Простите меня тысячу раз за кощунство. Вся ваша семиотика, и Соссюр, и структурализм, и тартуские сборники, с точки зрения нормального соседа-гуманитария, – вы не забываете, друг мой, истфак ведь в том же первом гуманитарном корпусе... У нас знаете как шутили? Хорошую вещь Соссюром не назовут! Все это дешевый способ подавлять собеседника, система переименований, жалкие понты, банальный перенос каббалистики на вещи, которые каббалистикой не исчерпываются. Поэтому вы так любите ритуалы и прочие магические штучки, а также книжки про тайные общества и эзотерические братства. Все это, знаете, попытка сажать огурцы посредством геометрических вычислений. Знаете такую сказку?

Все молчали, демонстративно не глядя на Волохова, но это его уже не останавливало.

– Вы «Магизм и единобожие» читали? Там это подробно прописано... У всей вашей филологической каббалы довольно низменные цели – тот же самый эзотерический язык, чтоб чужие боялись, все черты секты... И главное – презрение ко всему, что не секта. Я только не понимаю: вы действительно хотите, чтобы вся литература перестала существовать, или кое-что оставите? Из того, что нравится вам лично? А, да, забыл. Тут же еще и фрейдизм, тоже ваша вера. Получаем, значит, такой синтез: с одной стороны, всем управляет срамной низ, а с другой – ритуал. Ничему божественному и просто хорошему вообще места не остается. Мне особенно нравится ваша манера излагать, этот ваш новый РАПП, с первых фраз уничтожающий оппонента. Но это все потому, Ося, что оппонент до времени молчит, подавленный количеством иностранных имен и непонятных слов. А потом он в один прекрасный день устанет от ваших толкований слова «хуй», инцестуозности, интертекстуальности – и скажет вам открытым текстом, что и литература ваша, простите, говно, и наука, ее обслуживающая, не лучше. Простите мой французский, но у Псиша в текстах и не такое случается. Нос не надо драть, Ося. Вы поняли меня? Га-да-мер, – передразнил он. – Я знаете где видал вашего Гадамера? И Лоцмана? И что вы имеете на это возразить?

– Господи, да кто же будет возражать? – снова возвел очи к небу Бакунин. – Дикаря привели в кают-компанию, показали компас, дикарь на него помочился – что тут возразишь? Чтобы спорить, надо, чтобы оба собеседника по крайней мере знали слова...

Псиш оглушительно захохотал.

– Женя, – сказал томный из своего угла. – Женя, зачем ты водишь в кают-компанию дикарей, которые мочатся на компасы?

– По-моему, вы обидели девушку, Роман, – улыбнулся Волохов, прибегая к любимому приему ЖД.

– А-а, – протянул томный. – Ну да, конечно. Можно, я не буду отвечать? – отнесся он к хозяйке. – Мне скучно, мебель хрупкая...

– Да, действительно, – поддержал юношу его сосед справа, бровастый, с ярким румянцем. – Давайте пить чай. Маша, солнце, что к чаю? Я весь день жду и трепещу!

– Ну ладно, – сказала Женька. – Вы тут посидите еще, помажьте компас жертвенной кровью, а мы с дикарем пойдем, пожалуй.

– Но я не понимаю! – внезапно обрела дар речи Маша. – Я не понимаю, как это можно – вот так прийти и... Есть же, в конце концов... – Она не договорила и бурно разрыдалась.

– Маша! Маша, сердце мое! – подскочила к ней с утешениями толстая очкастая девушка, слушавшая Волохова с таким непримиримым выражением лица, что от ярости, казалось, испарились все ее рациональные аргументы. – Маша, как ты можешь? Ты! Он пальца... он ногтя твоего не стоит! Маша! Из-за кого?!

- Пошли, дикарь, – Женька потянула Волохова к двери.
- Простите, если что, – сказал Волохов уже из прихожей.
- Бог простит, – сказала Женька, когда они спустились по узкой и темной лестнице. – Кажется, теперь меня не ждут и в этом доме... Поразительное место Каганат – все двадцать раз со всеми переругались по принципиальным соображениям. До этого в России ругались, но Россия хоть большая. А тут посрешься с кем-нибудь насмерть – и приходится на другой день мириться. Куда на фиг денешься с подводной лодки? Тесно, все со всеми... Встретимся где-нибудь – придется делать вид, что не было ничего. Я в этой кают-компании раз по десять со всеми так. Во времена размежевания знаешь что было? Раз по пять рвешь отношения навсегда, а наутро как ни в чем не бывало.
- Спасибо, Женька, – сказал Волохов в «мазде». – Вступилась, пострадала...
- Да было бы перед кем, – она дернула плечом. – У меня это Ромино высокомерие вот тут... Мальчик-тюльпанчик... Чакры у него прочищены, видали идиота? Он поездил бы, как езжу я, посмотрел на то, что вижу я...
- Ладно, это тоже высокомерие.
- Имею право. А пусть не трогает моих любимых.
- Может, он сам в тебя влюблен, почему ты знаешь...
- Рома?! Рома не может быть влюблен. У Ромы есть девочка старше его, которая кормит его и попу вытирает, а он ее третирует с высоты своей герменевтики.
- Он тоже из ваших? Из ЖД, я хочу сказать?
- Вот еще. Это из Машкиной шоблы, в ЖД люди попримичнее. Ты бы тоже был в ЖД, если бы жил в Каганате.
- Может, примете? – спросил Волохов.
- Не пройдешь, – сказала Женька.
- Почему?
- Врать не умеешь. Хитрости мало.
- Сильно я испортил твою репутацию?
- Да тут у всех на репутации живого места нет. Напишешь что-нибудь в дневнике – на следующий день пятьдесят комментов от друзей и соседей: предала, предала...
- Ну и фиг ли ты его вообще ведешь?
- Не знаю. Вывешиваю, что в газету не прошло.
- Кстати, ЖД – это в честь вашего движения? Живой Дневник, я имею в виду.
- А... – она усмехнулась. – Не думаю. Есть такие аббревиатуры, они обозначают все. У нас приложение было – «ЧП». Так там на каждой полосе была своя расшифровка – «Что Показывают», «Чудеса Природы», «Чакры прочисть»...
- Рома тоже там работал?
- Дался тебе Рома... Рома больше по гляncy. Сти-иль... Они свернули на свою улицу. Волохов так привык и к этой улице, и к дому, что уже злился на себя за это.
- Ну вот, я тогда к этому «ЧП» расшифровок двадцать придумала, если не больше. Так и «ЖД». Живой дневник, жаркая дискуссия, жуткие дразги, жалкие душонки, жаркие деньки...
- Женька дура, – добавил Волохов.
- Жирный дебил, – отозвалась она. – А все вместе – Желтый Дом, ты не находишь? Она припарковалась и подмигнула ему.

3

Подмигивают, подмигивают... Еще в «Заратустре» его смутило это подмигивание тайно знающих. Он не понял тогда, о чем речь. Речь шла, скорее всего, не о хазарстве – она была именно об этом тайнознании победителя, вовремя понявшего, куда все катится, и выбравшего сильную сторону. Сильной стороной был распад, энтропия, которой и надо было всячески способствовать, неуклонно оберегая при этом собственное тайное братство; подкладывать щепки во все чужие костры – чтобы хранить свой невидимый град, которого не было на карте, который был поэтому неуязвим для любых пушек. Всякое истребление отдельных граждан этого града было только на руку его тайным правителям – потому что становилось аргументом в спорах: это был новый кирпич в стену неуязвимости, ибо хазары ничем на это не отвечали. Они были на стороне врага, которого нельзя увидеть: они желали гибели всем царствам, чтобы на их руинах наконец утвердить свое – тактика поистине безупречная, потому что они выступали в союзе с самим временем, самой вечностью, которой некуда торопиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.